



Анатолий Георгиевич Алексин

Перелистывая годы

ФТМ

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=7441675

Перелистывая годы: ФТМ; Москва;

ISBN 978-5-4467-2630-1

Аннотация

Книга Анатолия Алексина – воспоминания о встречах с известными людьми искусства, литературы, кино, политики. Эти воспоминания представляют собой фрагменты писательского блокнота Алексина, новеллы и короткие повести.

Содержание

Вместо предисловия	4
Рентген	6
Прости меня, мама...	18
Сквозь решетку	22
Заброшенный памятник	24
Как создавались легенды...	29
«Финита ля комедия»	34
Отец и дети	37
Запоздалые покаяния	45
Поэтом должен «ты не быть»	50
Моя бабушка Анисия Ивановна	52
Конец ознакомительного фрагмента.	64

Анатолий Алексин

Перелистывая годы

Вместо предисловия

Едва Лев Николаевич присел на крыльцо своего яснополянского дома, как в щеку ему вонзился комар. Толстой прихлопнул его ладонью, а стоявший рядом толстовец Чертков принялся нудить: «Вот вы, Лев Николаевич, учите нас не противляться злу, не ранить, не убивать... А сами убили живое существо – и на щеке у вас кровь!» Толстой ответил толстовцу:

– Не живите так подробно.

Вспоминаю этот случай, описанный очевидцем, потому что хочу последовать совету гения: не перемалывать вновь и подробно всю свою жизнь, а воссоздать лишь то, что, мне кажется, заслуживает воссоздания.

На художественность в этом случае не заховаюсь, а хочу именно перелистать прожитое и поведать прежде всего не о своем бытии, а о событиях, которые, думается, воспроизводят важные приметы Времени, о знаменитых людях, которых – по деяниям их – знали весь бывший Советский Союз, вся Россия, а то и весь мир, и с которыми я был, как говорится, лично знаком.

Знаменитые – это отнюдь не всегда замечательные. Известность приносят и свершенное добро и, увы, свершенное зло, если они масштабны. А иногда в действиях знаменитостей непостижимо перемешаны свет и тень, теоретическое стремление к возвышенным целям и безнравственная неразборчивость в средствах. Пусть факты и люди предстанут такими, какими я их увидел. Зрение мое кому-то может показаться не вполне точным, даже искаженным. Что ж, на снайперство я тоже не претендую. Но постараюсь быть справедливым...

Перелистывая годы, я не буду верен законам последовательности, хронологии, а буду подчиняться, что поделаешь, своеволию памяти.

Но все это – ро мои личные воспоминания... Они являют собой лишь страницы писательского блокнота, который предпочитает язык фактов, конкретности – пусть суховатый, но зато не отвлекающий от сути реальных событий, личностей, встреч.

Однако блокнотные страницы перемежаются новеллами и короткими повестями. Это тоже главы воспоминаний, но чаще они принадлежат как бы не мне, а тем, от чьего имени ведется повествование... Можно сказать, что они записаны мною «с голоса» чужих исповедей. Но и когда новеллы звучат «от третьего лица» – это все равно исповеди, это «тоже из жизни». Все сюжеты, даже самые невообразимые, загадочно соединившие в себе страшное и смешное, рождены реальностью, которая столь часто фантастичнее самой изощренной фантастики. Не случайно книга открывается новеллой «Рентген»: я пытаюсь высветить те недуги, те потрясения, горестные и счастливые, те ошеломившие меня высокие и низменные своеобразности характеров, поступков, с которыми свела жизнь. Нет, пожалуй, точнее сказать иначе: в своих новеллах и повестях я пытаюсь помочь самим читателям с рентгеновской пристальностью взглянуть во все это...

Надеюсь, не покажется нескромностью то, что я, в связи с вышесказанным, процитирую слова писателя и бесстрашного воителя за права людские Льва Разгона: «Анатолий Алексин, как правило, воздерживается от тяжко-окончательной оценки даже тех, кому после его детального нравственного исследования можно было бы поставить диагноз: злокачественно, неизлечимо. Писатель предоставляет право ставить моральные диагнозы читателям, потому что полностью доверяет их умению не только отличать добро от зла, но и устанавливать «степень виновности».

Новеллам и повестям, логично, мне думается, соседствующим с блокнотными записями, я здесь даю те имена, те названия, кои возникали не позже, не потом, а когда я внимал исповедам собеседников. Иные не совпадут с названиями в моих сборниках рассказов и повестей. К тому же, для этого издания я некоторые главы воспоминаний доработал и дополнил.

«Я встретил вас – и все былое...» Тютчевская строка звучит для меня эпиграфом к этим воспоминаниям. «Я встретил вас...» – обращаюсь я к дням и годам.

Былое, ожившее в сердце и памяти, – это и есть моя книга.

Рентген С голоса

Когда-то, в озорном детстве я упала и расшибла коленку. «До свадьбы заживет», – успокоила меня мама. Но предсказание не сбылось... Коленка затаила обиду – и через тридцать лет (когда свадьба давно уж стала воспоминанием!) она неожиданно и злокачественно воспалилась. И решила покинуть меня... вместе со всей ногой.

«Придется ампутировать!» – радуясь отсутствию разногласий, заявил врачебный консилиум.

Я навзрыд захлебнулась кашлем.

– С вами это часто случается? – осведомился глава консилиума.

– Что? – сквозь кашель пробилась я.

– Вот это...

Он как бы указал пальцем на мой кашель.

– В последнее время... часто, – прорывалась я сквозь удушье.

– Что вы называете последним временем?

– Примерно полгода. И без видимой причины.

– Если причина невидима, надо сделать рентген.

Рентгена страшатся... И того, который высвечивает физические недуги, и того, что обнажает заболевания характеров, людских отношений. Но если второй, психологический, рентген, думала я, условен и с ним можно спорить, то первый, медицинский, неопровержим и потому, случается, беспощаден. Он устанавливает диагноз, либо подтверждая опасения, либо их отвергая. Но людям-то свойственно предполагать худшее. Поэтому просвечивать свой организм они отправляются, как на экзамен, исход которого от них не зависит.

У меня рентген обнаружил как раз то, что считается самым страшным: метастазы в легких. Разбитая в детстве коленка решила покинуть меня не только вместе с ногой, но и вместе со всей моей жизнью.

По отношению к себе самой я слыла фаталисткой: чему быть, того не обойдешь и не объедешь даже на самой изворотливой «иномарке» (в заграничное у нас искони верят больше и трепетней, чем в свое). Советуя «перепроверить» отечественный рентгенокабинет, в котором было установлено трагичное будущее, мои мужчины – муж и оба сына – настаивали:

– Просветись на новейшем японском оборудовании. Проверься на современной немецкой аппаратуре...

Словно более современное оборудование обеспечивает более обнадеживающие диагнозы! Я была убеждена, что родной рентген по-родственному сказал мне правду: какие секреты от близких?

Ранее отечественные врачи также по-родственному упреждали, что никотин – это яд, способный убить лошадь. Но я относилась эту опасность исключительно к лошадям. И бесстрашно насыщалась ядом, столь опасным для них.

«Вон Черчилль уничтожал себя сигарами, похожими на ракеты, а не какими-то щуплыми сигаретками, но жил – не дотянул, а именно жил! – до девяноста», – прибежала я к аргументу, коим самоутешались многие фанатики курева. И в этом случае зарубежный авторитет казался выше авторитетов отечественных. Еще и потому, что он был для меня более выгодным. Мы часто верим в то, во что приятнее верить...

– Уинстон Черчилль, стало быть, повинен в двух войнах: в холодной – с политическим организмом планеты и в никотинной – с физическим организмом доверчивого человечества,

которое так любит обманывать само себя. Не много ли жертв в результате тех войн?! – сказал как-то мой муж, любивший сопоставлять исторические примеры с житейскими. – Вот и ты... Коленка не случайно ударила именно в легкие!

«И спасибо ей, что ударила: не прыгать же мне на одной ноге!» – молча, про себя ответила я.

Результаты просвечивания были, как сообщил мне онколог, «положительными». Он исповедовал американскую (вновь иноземную!) «откровенность с пациентом в любых случаях»: организм-де мобилизуется для отчаянной схватки. Хотя главное для американцев в такой ситуации, думала я, не вздыбить сопротивление, а вовремя сочинить завещание и все заранее распределить. Мне же завещать было нечего... кроме любви и забот, которых мои мужчины могли лишиться. Мне чудилось, что я нарекла супруга и двух сыновей «моими мужчинами» еще до их появления в моей жизни.

Злокачественные заболевания все переворачивают вверх тормашками – представления о земных ценностях, земной суете и даже привычные определения: «положительный» результат исследований – это значит приговор, «высшая мера», будто за вину с отягчающими обстоятельствами, а результат «отрицательный» – освобождение от несправедливых наказаний. Прятаться от смерти я вовсе не собиралась... Думы о ней, а они посещают каждого, приводили меня к одной-единственной тревоге: как же они, мои мужчины, вдруг останутся без меня?

– Ты приучила их к неприспособленности, незащитности. И возишь их в коляске, подобно младенцам, – ласково, без раздражения упрекала когда-то покойная мама. Раздражаться она не умела и считала для себя унижительным. Сберегая стрессы внутри, она вроде бы накопила взрывчатку, которая и обнаружила себя необратимым инфарктом.

Из трех моих мужчин самым самостоятельным был младший, сын Виктор. Сперва мы именовали его Витиком. Но от нежного Витик вскоре само собой образовалось прозвище Винтик. Так его стали звать сверстники... Антисталинская убежденность моего мужа не выдержала:

– Винтиками людей называл тиран!

Не знавший этого Винтик взбунтовался против политически оскорбительного обращения с его именем – и сделался Виктором. До полновесно-взрослого имени пожелал дотянуться и характер младшего сына. Виктор был сообразителен, находчив в защите своих интересов и скрупулезно практичен, – мы ликовали: среди «новых русских» не пропадет!

Второй сын, Алеша, был мечтательным и хронически в кого-то влюбленным: то в девочку из соседнего класса, то из соседней квартиры, то из соседнего дома... В каждом конкретном случае он был однолюбом – и не желал делить свое внимание к девочке с вниманием к наукам, книгам и домашним обязанностям.

Впрочем, кроме предмета страсти (всегда, безусловно, последней!), Алеша постоянно любил и меня. Мне – одной на земле! – доверял он сокровенные тайны, которые были очевидны для всех окружающих. Алеша еще не понял, что любовь никуда не запрядешь – и всякий раз был романтически убежден, что в курсе лишь мы вдвоем.

Мне это почему-то льстило.

На правах доверенного лица я все же как-то сказала ему:

– Ты – бабник! Или, мягче говоря, ветреник...

– В каком смысле... ветреник?

– А в том, что сегодня клянешься, а через неделю – ищи ветра в поле!

Девочки искали его не в поле, а по телефону или возле подъезда. Алеша, как уверяли, был «весь в отца»: строен и притягателен. Девочки притягивались к нему столь прочно, что оттягивать иногда приходилось с моей помощью. «Создан для любви, – думала я. И вздрагивала: – А еще для чего он создан?» Отец-то звался доктором физико-математиче-

ских наук! Если он и был расчетлив, то исключительно в расчетах математических. Если мечтал, то о новых открытиях в «физике твердых тел» (но отнюдь не женских!). А коль был влюблен, то в меня...

Алеша упоенно следил за своей внешностью, а муж – за прогрессом науки. Ни на репутации его, ни на его костюмах не было ни пылинки. Пылинки вовремя перехватывала или сдувала я...

При всей практичности младшего сына, романтичности старшего и научной оснащенности мужа фундаментом дома единодушно считали меня. Потому, видимо, что я им и была.

И вот фундамент дал трещины. Одну... и тут же, вослед, без передышки – другую. Впрочем, о второй я мыслила как о спасительнице... не собираясь передвигаться по жизни на костылях.

Для осознания и определения значительных или экстремальных событий я, по совету мамы, обращалась к великой литературе. То было нашей интеллектуальной семейной традицией. Эпиграфом к нынешней драме могла стать пушкинская строка: «И от судеб защиты нет». Или его последние два слова, произнесенные вслух и уже в прозе: «Жизнь кончена».

Поначалу я сообщила, что рентгенолог якобы отправил меня обратно к ларингологу, ничего такого, дескать, не обнаружив. Это было убедительно для доктора физико-математических наук, для романтика, достигшего пятнадцати с половиной лет, но не для моего младшего, двенадцатилетнего сына Виктора. Он к тому времени разузнал, что полное имя его происходит от победного слова «виктория», о чем впопыхах, в житейской сутолоке мы не удосужились ему сообщить. А когда разузнал, стал еще более напорист. Напирал же он прежде всего на досрочное, не ограниченное возрастом узнавание фактов, сведений... И полной правды, которую взрослость от детства утаивает.

Исследовав мою сумку и разобравшись в диагнозе, находчивый Виктор, словно самолет, получивший неожиданное повреждение, стал «терять высоту». Он пригнулся от неожиданного удара. Я постаралась с помощью полуправды, которая еще обманчивей, но убедительней лжи, вернуть его на прежний уверенный курс. Хоть на короткий срок... В результате, он не упал, не взорвался, не пошел на рискованную вынужденную посадку... Не сел, но как-то осел. И вся моя семья внезапно осела. Накренилась от травмы, которая образовалась в основании дома и все опаснее углублялась и расширялась. С фундамента же дом не только начинается, – фундамент его на себе держит.

– Я абсолютно жива, а вы уже насмерть струхнули! – осудила я их. И слегла в постель.

С приятельницей моей Гертрудой мы давно уж распространяли билеты на концерты классической и неклассической музыки. Гертруда именovala нашу деятельность просветительской. Хоть для меня она была просветительской лишь в том смысле, что оставляла просветы для хлопот о своем доме, своих мужчинах.

Иногда некрасивость женщины становится ее отличительной чертой, как бы главной приметой. Такой внешностью и обладала моя подруга. Я заметила, что имена часто, как собаки, отражают характер своих хозяев. В имя Гертруды было врублено слово «труд».

«Душа обязана трудиться...» – сказал, хоть и не Пушкин, но прекрасный поэт. Душа Гертруды трудилась без передыха. Эта трудолюбивость была еще одной определяющей приметой моей подруги. Но уже внутренней... Можно было сказать, что Гертруда «Герой труда», но не социалистического, а, напротив, гуманистического. Я в этом была уверена. Мне виделось, что Гертруда воспринимает катастрофы дальних судеб, как близких и своих личных. Хотя ничего «личного» у нее, мне казалось, не было...

– Проблемы других стали основными моими проблемами, – не раз повторяла Гертруда.

«У каждого обязаны быть и свои основные проблемы, – размышляла я ей в ответ. – Печально, если их нету».

«Но и мои мужчины мучаются за меня не меньше, чем страдали бы за себя», – думала я без гордости за своих мужчин и даже без ощущения благодарности, а лишь с болью за то, что им на долю выпали такие терзания.

Я называла их троих – мои мужчины, а подразумевала: мои дети. И доктора физико-математических наук я дома превратила в ребенка: неумелым и неразумным дитем быть проще и, да простится мне, выгоднее. Эти запоздалые и уже бессмысленные мысли нагнали меня сейчас. В последние недели или дни существования моего...

Превращая же мужа в ребенка, я, наверно, удовлетворяла и свою неутоленную жажду иметь побольше детей. О чем грезила маниакально. Пока не осознала, что в нашей жизни та мечта беспощадна, жестока... по отношению к будущим детям.

Гертруда постоянно что-нибудь для кого-нибудь искала и обретала. Для меня она обрела весы. Они не были медицинским рентгеном, но, хоть и не высвечивали, зато взвешивали тяжесть моей болезни. Тут – как и в остальном при злокачественных историях – все было наоборот: чем меньше оказывался мой вес, тем весомее становились недуги. Все вздыбилось вверх ногами: как «положительный» результат просвечивания обозначал результат отрицательный, так и утеря моей тяжести означала увеличение моих тягот. И панической растерянности моих мужчин.

– Ничего... ничего, – пытался утешить себя мой супруг. – В нашей аттестационной комиссии есть и онкологическое светило: академик медицины.

Как будто академическое звание могло отменить ампутацию и что-то приказать метастазам! К тому же выяснилось, что академики нарасхват. Бенциона Борисовича расхватывали даже представители зарубежных королевских семейств. Как поется, «все могут короли...». Но гарантировать себе безопасность и защиту от недоброкачественных заболеваний не могут и короли. Здесь требуются особые «телохранители», умеющие охранять и спасать тело изнутри. Таким телохранителем и слыл Бенцион Борисович.

Даже и путь на тот свет титулованные пациенты совершают все же в привилегированных условиях, обладая и на «последнем отрезке» своими особыми преимуществами. До того последнего мига... который ставит крест на любых привилегиях. Одним словом, Бенцион Борисович улетел в какой-то зарубежный дворец, тайно сообщив моему мужу, что летит «по делу безнадежному».

«Как и мое!» – безмолвно добавила я.

– Ничего... он вернется! – продолжал усмирять свое отчаяние мой супруг. – Он вернется... Ничего предпринимать без него мы не будем!

В одно очередное не прекрасное утро я не обнаружила возле постели весов, которые с точностью определяли мое состояние.

– Они испортились, – сообщил младший сын. – Пока ты спала, я их снес в мастерскую. А там очередь, как везде! Готовы будут через месяц, не раньше.

– Все возжаждали вдруг определять свой вес? Слава Богу, что только физический... А если возжаждут так же точно определять политический? Представляешь, какая начнется свара? – сказала я, поскольку, привязанная к постели, вынуждена была принимать не только повышенные дозы лекарств, но и чрезмерные дозы газетной информации и теленовостей. И лукаво добавила: – Ты спрятал весы? Или поломал? Спасибо, сынок.

Его изобретательность продолжала действовать. Но зеркальце, в которое я пристрастно заглядывала, Виктор не стал разбивать. Во-первых, это плохая примета, а во-вторых, в доме было много других зеркал.

«Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи!» И зеркальце докладывало: восковой оттенок щек, костистая худоба, изможденность.

А ведь была хороша! Об этом говорил муж... шептал, бормотал, забывая обо всех своих кафедрах и научных советах. И даже о том, что в соседней комнате спали два сына. Один

из которых, хоть и был младшим, ничего мимо ушей не пропускал. Другой же готов был пропускать все, что угодно, кроме как раз того, что мы должны были от него скрыть.

Не только супруг – и другие представители сильного пола порой слабели у меня на глазах. Интимная порывистость входила в противоречие с заученностью их комплиментов. И расшибалась о заградительную полосу моей насмешливости и мою мнимую недогадливость. «Упустила? Не воспользовалась? Теперь уже поздно?» – интересовался чей-то, словно допрашивающий меня, голос. «Нет, возможности, которые были мне ни к чему, цены не имели, – отвечала я бесцеремонному допросу и себе самой. – А перебирать в памяти те давние, ненужные завоевания... ныне, приблизившись к небесам, грешно и стыдно».

Рассуждениями этими я пыталась отстранить от себя безысходность. Но ее заложницей продолжала быть вся наша семья. Меня и в больницу-то не направляли не только потому, что против этого восставали мои мужчины, а потому, что умирать лучше дома.

Мужчины мои ужасались тому, что останутся без меня. А я тому, что оставлю их без себя.

Мы ждали Бенциона Борисовича... Нога же, однако, хотела распрощаться со мной поскорее. И нестерпимой болью рвалась к разлуке. Я привыкла делить со своими мужчинами светлые мгновения, но не свои боли. Ничто, кроме наркотиков, не в состоянии уже было облегчить мои муки. Пора было отправляться в больницу.

Я всегда придирчиво выбирала слова, определявшие мрачные, неблагоприятные события. И старалась заглушевать, скрасить ими реальность, а не выпячивать горести, не выставять напоказ. Но навалилось такое, что замаскировать было уже нельзя. Я попала в ту единственную трагедию, когда дьявольское зелье становилось ангелом-избавителем. Пусть ненадолго. Но и страдать-то мне оставалось... недолго.

Стыдно, грешно было и ужасаться своим болям, если в палате, на соседней постели, ни о чем не догадываясь, погибала от саркомы ноги восемнадцатилетняя девушка. «Так мне ли, в мои сорок три?... Я пережила ее уже на четверть века. На целую жизнь!»

Лера отличалась безупречным природным вкусом. Во сне она даже больничную подушку обнимала как-то по-своему, обворожительно, словно чью-то любимую голову. Да и сама была... Пробудившись, она прежде, чем к лекарствам, обращалась к своей нехитрой косметике – и с ее ненавязчивой, чуть заметной помощью противостояла признакам скоротечной болезни, которая оставила ей не более полугода... И для косметики, и для звонков, навстречу которым она устремлялась в коридор, на ходу преображая свою, пока еще легкую, хромоту в своеобразную полукочетливую походку.

Талия ее утопала в больничном халате, который она подпоясывала. А на груди халат еле сходил... Глаза, помимо Лериной воли, были откровенно зазывными. Такую открытость можно было приписать провинциальности, но мне виделась в ней искренность, коя не бывает чрезмерной.

«Все поклонники, все поклонники...» – ворчливо завидовала ей, приговоренной, старшая медсестра, которую мужчины звонками не утомляли.

Для лирических перипетий Лере было предоставлено всего месяцев шесть. За что? Неужто только за то, что девчонкой она, как и я, споткнулась и ушибла коленку? Многие спотыкаются гораздо серьезней, но не приговариваются за это к высшей мере наказания. Лерина нога оказалась, увы, гораздо обидчивей и мстительней, чем моя.

До возвращения академика из королевских хором в палаты не царские, не хоромные, а забитые теми, кто и так-то был забит нуждою и горем, меня, по просьбе мужа, врачи с удовольствием оставили в полном покое. И даже нашли своему безразличию достойные объяснения: повторные рентгены – это-де повторная радиация, а дополнительные анализы – лишняя перегрузка истомленного организма. Почти все на этом свете можно объяснить красиво и убедительно.

– С облучением и химиотерапией тоже повременим, – не таясь, сообщил мне палатный врач: от оглашения приговорных диагнозов и крайних способов уже бесцельного лечения оберегали, да и то согласно моей мольбе, лишь восемнадцатилетнюю Леру.

Однако ко мне, увы, не проявляли невнимания и буквально ни на час не забывали обо мне удушья и кашель – то разрывной, то шрапнельный. И незримые остроконечные пики, вонзавшиеся в ногу все чаще и глубже... Отпор им по-прежнему давали лишь наркотики, если Лере удавалось дозваться старшую медсестру.

– Ты уж о поклонниках своих заботься, – продолжала исходить завистью медсестра. А в мою сторону без намека на сострадание бурчала: – Наркоманкой заделаешься!

Хотя она знала, что «заделаться» я никем уже не успею.

В мой первый больничный день, нарушив все административные правила, – а только они в больнице и соблюдались – ко мне под водительством Гертруды пробились мои мужчины.

– Как это удалось? Всем сразу? Больше двух посетителей зараз не пускают.

– Искусство всесильно, – ответствовала Гертруда. – Главный врач обожает музыкальную классику.

– Как вы об этом узнали?

Вопрос был наивным: ради других Гертруда способна была разузнать все.

Трое мужчин припали к моей постели, а Гертруда отвернулась, чтоб «не мешать семье».

Муж сообщил, что без меня не в состоянии соображать (а доктору физико-математических наук иногда это необходимо!). Виктор мигом подсчитал, сколько в палате больных и установил, что их в два с половиной раза больше, чем полагается. А сколько «положено», он заранее выяснил. Младший сын сказал еще, что не может входить в квартиру, зная, что не увидит меня. А старший, что не может посещать школу... И заплакал. Но тут он заметил Леру. Глаза его мигом просохли. Он пересел с моей постели на бывший когда-то белым обшарпанный стул. И уставился на нее таким взглядом, что Лера поплотней запахла халат. А я поняла: пятнадцать с половиной – это уже возраст мужчины. Также мне стало ясно, что палату нашу, в отличие от школы, Алеша отныне будет посещать ежедневно.

Мне как раз принесли обед, состоявший из тарелки подогретой мутной воды с плавающими на поверхности бледными кружочками жира и гречневой каши-размазни. Младший сын незамедлительно поинтересовался, на какую сумму в день нас «питают». Я не знала. Тогда он выяснил это у кого-то из моих пожилых дотошных соседок... После чего отнес обе тарелки в туалет, а обратно принес их пустыми.

– Питание твое будет домашним! – заявил он.

– И ваше тоже... – томно пообещал Лере мой старший сын.

Виктор указал на судки, которые Гертруда успела опустить на пол, вымытый возле моей постели, будто к их приходу, чистюлей Лерой.

– Без тебя мы не можем... – проговорил мне в плечо муж.

Совместная скорбь трех мужчин не взбодрила мою гордость тем, что без меня они жить не смогут. Мне хотелось, чтобы смогли.

– Я ведь оставила вместо себя Гертруду!

– Но я же... не вы, – услышав меня и на миг повернув голову, возразила подруга.

– Они привыкнут. И поймут... что вы будете даже лучше меня.

Гертруда энергичными кивками выразила протест.

– Привыкнут!

Я произнесла это вполне убежденно: сколько у Гертруды скопилось нерастроченной энергии внимания к роду мужскому! Вот и пусть выплескивает всю ее на моих мужчин. Я-то уж никогда и ни в чем не смогу... Никогда и ни в чем.

– Поймут... что вы будете даже лучше меня, – не задумываясь, повторила я, чтобы убедить мужчин. Возможно, она была не лучше и не хуже – просто мы были такими разными, что, приятельствуя много лет, никак не могли перейти на «ты».

Не только Алеша впивался в Леру алчущим взором. От этого не удерживались и студенты-практиканты, частенько навещавшие нашу палату.

– Неужели ей ничто и ничуть не поможет? – спросила я палатного врача, видевшего в Лере лишь пациентку.

Он, измотанный онкологическим адом, который называл «своей службой», похоже, к тому аду прижился. Но с Лериной саркомой смириться не мог даже он. Слишком уж она противоречила справедливости.

– Оттягиваем, как можем. Для нее ведь каждый месяц... и даже каждый день...

Та его не завершенная фраза мне запомнилась.

«Жить сегодняшним днем» – призывали не только жизнелюбы-хапуги, но и бессмертные мудрецы. Правда, аргументы не совпадали – у одних: возьми, ухвати все, что в этот день сможешь, а у других: отдай, сотвори все, что тебе предназначено сотворить в этот день. Бывают, однако же, ситуации, когда получить что-то досрочно и в большем количестве, чем рассчитано на один день, необходимо и вовсе не грех.

Студент-практикант по имени Вячеслав выглядел чересчур отутюженно на больничном фоне. Свои бакенбарды и усы он опекал, как влюбленный в природу садовник опекает грядки и клумбы. Но влюблен Вячеслав был не в растительность – садовую или свою собственную – а, как и мой Алеша, в прекрасный пол, на данном же этапе – в Леру, старше которой был с виду лет на пять.

Мне, честно говоря, с юности казалось, что бакенбарды следует заслужить, что на них имеют право выдающиеся художники и поэты.

– Приглашает в кино, – прильнув к моей подушке, словно мои мужчины, но более мягко и нежно, прошептала Лера. – Я боюсь.

– А ведь звонков своих многочисленных почитателей ты не боишься!

– Они звонят из нашего города... как и мама. Это далеко. Оттуда они не дотянутся.

А он... совсем рядом.

– И хорошо!

– А если в темноте вдруг полезет ко мне... обниматься и целоваться?

– Ну, и целуйся. И обнимайся... Что такого?

– Да-а? – изумилась она, воспринимая мой совет, как очень авторитетный, но странный. – А если потом домой пригласит? Он намекнул... Как отвертеться?

– Зачем отворачиваться? Что тут особенного?

– А если вдруг...

– Ну, таких советов я давать не могу. Но вообще-то настает время, когда...

– Вы так думаете?

Я могла бы сказать: «Советую тебе как мать...» Но советы матери для нее, я заметила, не были убедительны. И я сказала:

– Советую тебе как женщина.

Она опять изумленно вперилась в меня.

Вячеслав был мне неприятен. Не своими ухоженными усами и даже не претенциозными, будто не по праву принадлежащими ему, бакенбардами, которые, я заметила, производили на Леру впечатление (интеллигентность и обаяние все же хитроумно уживались в ней иногда с наивной провинциальностью). Вячеслав был неприятен мне, думаю, потому, что он претендовал на обреченно больную. Однако за это же я была и благодарна ему.

– Должна же ты когда-то... начать? – сказала я, потому что времени откладывать у нее не было.

Мать навещала Леру только междугородными звонками.

– У нее новый муж. Молодой... Его одного оставлять опасно, – пояснила мне Лера.

Она не осуждала мать. Как не осуждала вообще никого. И стремилась сама, по возможности, исправлять чужие промахи и прегрешения. Приносила мне лекарства, которые, случалось, забывали приносить сестры. Помогла усаживаться на постель, переворачивала меня. Напоминала, что мне пора в туалет, отводила туда и приводила обратно.

Лера была обречена саркомой на скоротечность беды. Но и скорое течение бывает разным. Неотвратимость иезуитски сочеталась с неизвестностью... Она могла ходить, слегка припадая на больную ногу и, повторяюсь, даже этим придавая себе дополнительное кокетливое очарование.

Мой срок был растянут на более долгое время. Но передвигаться, в отличие от Леры, я почти не могла. В онкологии, как во всякой экстремальности, много загадочностей и нелогичностей.

Саркома торопливей, прожорливей рака... И если бы не метастазы в легких, моя злокачественная беда вообще могла быть устранена... разумеется, вместе с ногой. Но в таком спасении я не нуждалась.

– Ты похожа на мать? – спросила я Леру.

– Говорят, поразительно.

– Тогда опасно не его одного оставлять, а ее одну отпускать.

– Может быть... Давайте я вас переверну со спины на здоровую ногу. – И как обычно, не дожидаясь моего разрешения, стала переворачивать.

– Спасибо...

– Пожалуйста.

Она не восклицала, впадая в скромность: «Ах, что вы? Что вы?!» Лера во всем была до неестественности естественна.

Двое моих мужчин – муж и младший сын – навещали меня поздними вечерами. Это было разрешено, поскольку главный врач «любил музыкальную классику». В часы официальных дневных посещений муж находился еще в своем научно-исследовательском институте, хотя что-либо исследовать до возвращения Бенциона Борисовича (да еще научно!) он, согласно своим заверениям, был не в силах. Виктор же посещал какие-то курсы начинающих бизнесменов, которые, по его словам, призваны были изменить в будущем лицо государства. И сделать страну, как ему объяснили, «страной с привлекательным лицом». Не просто с человеческим (человеческое лицо может быть разным!), а именно с привлекательным. Ну, а старший сын мой помышлял не о привлекательности всего отечества, а исключительно – Леры. Из всех коленок – больных и здоровых – его, я понимала, волновали только ее коленки.

Душа же Гертруды, натрудившись на нашей домашней ниве, не пропустила ни единого посещения. Как не пропустило и «домашнее питание» в ее аккуратных алюминиевых судках.

Но однажды она явилась ко мне в одиночестве.

– Где Алеша? – привычно забеспокоилась я.

– А где ваша соседка?

– Лера?

– Она... – Гертруда огляделась по сторонам, будто остерегаясь заговора.

Как раз в тот день Лера, которой был предоставлен «свободный режим», отправилась со студентом-практикантом в кино. Ни режим, ни что остальное для нее уже не имело значения. «Видишь, стало быть, нет оснований тревожиться...» – не раз повторяла я. Ложь во спасение, может, и не спасала, но облегчала.

– Значит, она не так уж больна? – предположила Гертруда всерьез.

– Да, Лера больна не так... – ответила я закодированной фразой.

– Ушла в кино? Из онкологического отделения! – продолжала недоумевать Гертруда.
– Она ведь так молода...
– Вот, вот. Молода! И, можно сказать, смазлива.
– Очаровательна, – поправила я.
– Алеша, к несчастью, тоже так думает. И влюбился в нее!
– Влюбился? Алеша?
– Как безумный! Представьте себе... И это моя вина. Вы же доверили мне... Не доглядела!

Ей казалось, что можно «доглядеть» за любовью.

– Как безумный? Откуда известно, что он потерял рассудок?

Она вновь таинственно огляделась.

– Полночи рассказывал мне. По секрету (абсолютнейшему секрету!). И плакал...

Вот на этом плече. Как ребенок.

– Он и есть ребенок, – неискренне произнесла я.

Она предавала моего сына... Пусть в разговоре с его матерью, но все равно выдавала его секреты. А сын? Он, стало быть, перестал делиться самым заветным... только со мной? И начал плакать у нее на плече?

«Вы привыкнете!» – пообещала я своим мужчинам так, будто бы приказала. И старший сын уже подчинился. Так быстро? Вопросы громоздились, не получая ответов. «Ты – ветренник!» – когда-то сказала я сыну, не допуская, что это может распространиться и на меня.

По велению разума, а не сердца разработала я план действий, который про себя именовала «предсмертным». Но все же предпочла заменить себя подругою некрасивой. Потому что считала Гертруду свободной от личной жизни. Освобожденной от нее навечно...

Меж тем из кино возвратилась Лера. Потом я узнала, что домой к практиканту она пойти не решилась: «Успею еще... Не к спеху!»

Она не спешила.

– Эта женщина очень заботлива, – прямодушно сказала Лера, когда Гертруда ушла.

– Но некрасива... И мне ее даже жаль.

– Почему? В ней что-то есть.

Я внутренне встrepенулась: может, «что-то» способно заменить красоту?

Исподволь я сама готовила сыновей к тому, что им придется поменять мать на мачеху. «Пусть мачеха окажется для них матерью!» – молила я судьбу. «А все же не такой, как была я», – вползала в ту мольбу несправедная поправка. Но вот уже Алеша плакал не на моем плече... Я ведь сама считала, что так должно быть. Но считать и хотеть – не одно и то же.

Дней через десять мои мужчины и Гертруда явили себя нашей палате в парадном, разряженном виде. Это вызывающе не стыковалось с онкологическим климатом. Оказалось, что прямо из больницы они отправлялись на концерт неклассической музыки.

– Этой рок-группой бредит весь мир! – захлебываясь приподнятостью своего настроения, возвестил младший сын.

Возле окна бредила не в переносном, а в самом буквальном смысле «новенькая», которая была моложе меня даже не на четверть века, как Лера, а на все тридцать лет. Однако танцевать ей в жизни не предстояло.

Некрасивость моей подруги подчеркивалась ее раздетостью столь же безжалостно, как праздничность всех моих посетителей оттеняла трагичность больничного бытия. Гертруда не была похожа на себя, на мою давнюю приятельницу... с ее способностью издали угадывать чью-то беду и кидаться наперерез. Куда девалась ее сострадательная дальность? А может, я раньше была близорука?

– Удалось достать три билета! Чтобы как-то отвлечь... – угадав мое недоумение, пояснила Гертруда. – Два в пятом ряду и один – входной.

– Ничего, я пристроюсь, – успокоил ее Виктор. Неужели и он уже вполне к ней пристроился? Так ведь я же к этому и стремилась.

– Александру Олеговичу дальше пятого ряда сидеть некомфортно, – обратилась ко мне Гертруда. – Алеша же хочет остаться с вами...

Она дважды сознательно не договорила: о том, что Алеша остается не только со мной, но и с Лерой, и о том еще... что сама будет сидеть в пятом, рядом с моим мужем.

– Из рубашек Александра Олеговича я выбрала для концерта эту. Я не ошиблась?

Она уже ориентировалась в гардеробе моего супруга. Я все больше казалась «сдающей дела», а Гертруда – «дела принимающей».

Бенцион Борисович был не типичным академиком. По крайней мере, не таким, какого я ожидала.

Накануне, уже не боясь навредить моему организму радиацией и перегрузкой, меня изучали рентгеном спереди, со спины и с боков... Меня «анализировали» детально и тоже с разных сторон.

Академик не соответствовал и некоторой парадности своего имени-отчества. Он был невзрачным, сухощавым и оптимистично подвижным. Лишь торжественность, возникшая вдруг в облике палатного врача, чаще всего беспробудно измотанного, соответствовала медицинскому рангу Бенциона Борисовича. Академик игриво подмигнул Лере, а меня, как девочку, потрепал по загривку. И уселся на обшарпанный стул, не замечая его обшарпанности.

– Я уже видел ваши последние снимки и результаты анализов. Так что, можно считать, мы знакомы!

Палатный врач приготовился записывать.

– У вас был коклюш? – спросил академик. – Пусть и давно, в раннем возрасте?

Палатный врач растерянно замер, словно академик пошутил или задал какой-то ребус.

«Большой врач отличается от обыкновенного, как Пушкин от своего современника Кукольника, а Чехов – от своего коллеги Потапенко. Впрочем, это были люди даже разных профессий», – объясняла мне покойная мама, которая была детским врачом. И, как считалось, не очень обыкновенным.

Я сообщила академику, что коклюш был.

– И долго вы кашляли? Болезнь тогда ненароком не запустили?

– Разве моя мама могла подобное допустить? Она была педиатром! – ответила я столь протестующе, будто оскорбили мамину память.

Академик даже отпрянул и прижался к обшарпанной спинке.

– Я тоже очень любил свою маму. Но все-таки... В студеной реке или в холодном озере вы когда-нибудь не застужались? – осторожно поинтересовался он.

– Застужалась, но... когда мамы уже не было. Палатный врач записывал, хотя и продолжал удивляться. А я принялась рассказывать о той, долго не отпускавшей меня, простуде.

– Вот в этом все дело, – обернулся Бенцион Борисович к своему коллеге, который начал строчить более интенсивно. – Я легкие имею в виду. И бронхи. У нее – хронический и весьма, я бы сказал, запущенный, застарелый бронхит. И к тому же еще – эмфизема. – Он вновь обратился ко мне: – У вас тяжелые заболевания легких и бронхов. «Тяжелые», «легкие»... Антиподные понятия, да? Но жизнь часто соединяет несоединимое. Да еще эмфизема! Красиво звучит? Эм-фи-зе-ма... Похоже на «диадему». Так что никаких метастазов и вообще ничего неизлечимого у вас нет. Первый рентген, простим его, обознался.

Он не захотел сказать, что обознались и доктора. И мой палатный врач обознался... Тот оценил тактичность Бенциона Борисовича и согласно кивнул: да, мол, рентген виноват.

– Ну, а с ногою расстанемся, – без оптимизма, но и без драматизма как бы заключил академик. – Ничего не поделаешь. Это тяжело, но не смертельно. Костыли приходят на выручку, иногда протезы. А еще лучше – лечебная коляска. В вашем конкретном случае... – Он не сказал «инвалидная», а сказал «лечебная». – Чтобы, упаси Бог, не упасть. Но главный сюрприз, думается, я вам преподнес: вы будете жить. А на коляске передвигаться? Ну, что ж, вспомните Рузвельта. Ему это не помешало.

«Опять аналогии, – внутренне воспротивилась я. – То Черчилль, то Рузвельт... Нет ничего сомнительней аналогий. У Франклина Рузвельта был полиомиелит, а мне предстоит полная ампутация. Раз уж коляска...» Так я подумала, а сказала иное:

– Благодарю вас, Бенцион Борисович.

– Судьбу надо благодарить: коляска – это не метастазы. Будут вас катать... У вас ведь есть дети!

– Трое, – вдруг ответила я.

Бенцион Борисович повернулся к палатному врачу:

– Позовите, пожалуйста, семью. Они небось истомились, ожидаючи.

Палатный врач заспешил в коридор, а академик вновь потрепал меня по загривку:

– Сперва решил подарить сюрприз вам. И вашему доктору. Игнорировать его неудобно: вдруг бы он был с моим заключением не согласен? А теперь уж вручу подарок родным и близким.

– Ты будешь жить... Будешь жить... – повторяли мои мужчины, которых я назвала своими детьми. И стали жать руку Бенциону Борисовичу. Палатный врач пошел его провожать.

– Ты будешь жить...

Слова их констатировали факт. Но я не уловила в них торжества. Скорее, мои мужчины были растеряны, точно застигнуты врасплох... Узнав, что смертный приговор отменен, они еле заметно оторопели. Были обмануты их ожидания? Нет, они не желали моей кончины. Но уже свыклись с нею. Они привыкли к моей смерти... Которой еще не было. Которая еще не пришла.

– Как же ты будешь... без ноги? – проговорил мой сообразительный младший сын. А прозвучало: «Как же *мы* будем?»

– Ты нехорошо сказал, – тихонько поправил его отец. Но формальные фразы остаются без смысла, словно без воздуха.

Я знала: они жалели меня, мечтали никогда не расставаться со мною... но с той, которой я была прежде. А с этой?

«Возишь их в коляске, подобно младенцам», – сказала когда-то покойная мама. «Но я-то им в инвалидной коляске...» Завершить ту фразу я даже мысленно не смогла. Может, я не была справедлива? И все же... Рентген, просветивший мою семью, в отличие от медицинского, кажется, не ошибся. Не обознался.

Гертруда, стиснув губы и всю себя стиснув, молчала. Вероятно, по ее убеждению, мой новый диагноз возвращал ей одиночество. Не исключено, что у нее, в отличие от прежних времен, возникли и свои, личные проблемы. Может, ее уже сотрясали не только проблемы «других»?.. Об этом я знать не могла.

Неожиданно, что-то угадав, меня сзади обняла Лера. Семьи моей в палате уже не было. И Лера прижалась ко мне:

– Я полюбила вас. И буду вам верна... До конца своих дней!

На полгода верность мне была обеспечена. А каким образом... Об этом я не хотела думать.

Вечером опять появился палатный врач.

– И я поздравляю. Вслед за Бенционом Борисовичем. Рентген, слава Богу, ошибся. – Он был порядочным человеком – и потому добавил: – Или ошиблись *мы*. Теперь осталась лишь ампутация.

– Полная, – уточнила я. Он не возразил.

– Она необходима... Иначе то, чего, как оказалось, нет, может возникнуть. Откладывать не стоит. Ни на одну неделю! – Он протянул мне какую-то бумагу. – Это вы должны подписать.

– Что... это?

– Удостоверить, что против ампутации не возражаете. Он протянул мне шариковую ручку.

– Я это не подпишу.

– Как же так? Вы обязаны.

– Почему обязана? Это моя нога. И моя коленка... И моя жизнь.

Прости меня, мама... Из блокнота

Мамы давно уже нет... А я все еще мысленно говорю: «Прости меня, мама». Она рассказывала близким, знакомым и даже не очень близким, какой у нее сын: очень хотела, чтобы люди ко мне хорошо относились, чтобы уважали меня. Я и в самом деле старался спасти ее от болезней, от житейских невзгод, торопился выполнить ее нечастые просьбы. А слов, которыми сейчас до того переполнен, что они подступают к горлу, не высказал. Многие мы, увы, осознаем запоздало, когда исправить уже ничего нельзя. Случалось, забывал позвонить в назначенный час. «Я понимаю, ты так занят!» Иногда раздражался по пустякам... «Я понимаю, как ты устал!» Она все стремилась понять, исходя из интересов сына, которые были для нее подчас выше истины. Если бы можно было сейчас позвонить, прибежать, высказать! Поздно.

Однажды Паустовский подарил мне стихотворение, переписанное его рукой из какого-то сборника. То были стихи молодого поэта Бориса Лебедева, который словно провидел свою судьбу: он ушел из жизни в самом ее начале.

Двадцать дней и двадцать ночей
Он жить продолжал, изумляя врачей...
Но рядом с ним была его мать –
И смерть не могла его доломать.
Двадцать дней и двадцать ночей
Она не сводила с него очей.
Утром, на двадцать первые сутки,
Она вздремнула на полминутки.
И чтобы не разбудить ее,
Он сердце остановил свое...

– Выучи эти стихи наизусть, – посоветовал Константин Георгиевич.

Я выучил.

«Берегите матерей!» – провозгласил в поэме другой, уже маститый, поэт. Хорошо было бы добавить: «Берегите матерей так, как они берегут нас!» Этот призыв выглядел бы красивым, но нереальным: то, что может мать, может только она.

В истории Второй мировой войны много и таких трагических фактов, которые полузабыты или вовсе поросли сорняками забвения. Иные из них гневно развенчивают мифы о гениальных прозрениях Сталина. Вот один из таких неопровержимых фактов.

Как известно, алюминий – это самолеты, а кроме того, он входит в большинство оборонных сплавов. Тем не менее сталинский план индустриализации легкомысленно расположил алюминиевые предприятия в местах весьма уязвимых, недалеко от западной границы – и все те заводы (творцы «крылатого металла!») были уничтожены в первые же месяцы битвы.

Страна практически осталась без алюминия. То было событием катастрофическим. И тогда вождь создал новый план, который вскоре нарекли «историческим»: на базе маленького УАЗа (уральского алюминиевого завода) в кратчайший срок и, естественно, «не считаясь с потерями» создать гигант – по тем временам! – алюминиевой промышленности. Предлагалось вводить в строй цех за цехом и чтобы новые эти цеха, не дожидаясь остальных, сразу же гнали продукцию, без которой победить было невозможно.

Самый мощный и опытный в стране строительный коллектив, в котором работала мама, был брошен на выполнение «исторического» задания.

«Ты будешь нам нужен!» – сказал мне начальник стройки Андрей Никитич Прокофьев, которого любили и называли стариком, хотя теперь я понимаю, что ему было едва за пятьдесят. Он знал меня и потому, что я был сыном своей мамы, и потому, что уже тогда, в мальчишеском возрасте, часто печатался и выступал по радио. Одним словом, мы с мамой отправились вместе.

Эшелон добирался до места назначения полмесяца. И мама в пути заболела... Помню первое ноября сорок первого года. Мы выгрузились, покинули эшелон – и перед нами простерлось неоглядное, промозглое пространство: разбухшая, вся в лужах и ямах, земля, бараки, палатки, одинокие, закопченные дома и цеха. Холодный, унылый дождь, казалось, заладил навечно...

Ко мне подошел Яков Белопольский, впоследствии знаменитый архитектор, лауреат всех и всяческих премий.

– Толя, ты должен быть мужчиной, – сказал он. – Мама, ты знаешь, в дороге тяжело заболела... И помочь ей здесь никто не сумеет. Нужна срочная операция! А до города, скажи, довезти не успеют...

Помню, я сразу же, по наитию свыше, рухнул коленями на мокрую землю и воздел руки к небу:

– Господи, спаси мою мамочку!

Минут через пятнадцать выяснилось, что жена одного из инженеров – искусный хирург, что она привезла с собой инструменты, лекарства. Фамилия ее была Свердлова, но к первому председателю ВЦИК она отношения не имела. В барачных, воинствующе антисанитарных условиях она сделала сложнейшую операцию. И мама прожила еще тридцать семь лет. А я с того дня, с первого ноября сорок первого года, стал верить в Бога. Он услышал меня... Могу ли я сомневаться?..

Дня через три меня вызвал парторг той гигантской оборонной стройки по фамилии Гольинский, который, хоть и представлял «большевистскую партию», но человеком оказался хорошим. Как было, так было...

– Начальник сказал мне, что ты печатаешься. Где?

– В «Комсомольской правде». И в «Пионерской»...

– Так вот. Сегодня пятница, а со вторника по приказу верховного главнокомандующего (стройка-то считалась военным объектом!) у нас начнет выходить газета «Крепость обороны». Ежедневная! На правах фронтовой... Ты станешь ответственным секретарем. Приступай прямо сейчас!

И я приступил.

Возвращаясь в предраассветные часы из типографии, я неизменно видел возле барака маму. Она ждала... А еще она, работавшая часов по четырнадцать, находила время днем забежать в редакцию и прочитать газетные полосы – вдруг проскочила опечатка: корректоры предусмотрены не были. Она проверяла типографские оттиски, как мои домашние сочинения в довоенную пору.

У меня был секретный «свод военных тайн»: о чем можно писать, а о чем под страхом смерти нельзя. Одна ошибка, один просчет – и НКВД, трибунал (стройка-то была сверхсекретная!). Тот «свод» я и маме ни разу не показал. А ошибку допустил лишь однажды...

К нам любили наезжать знаменитые мастера искусств: в виде гонорара им выдавали скромный, но все же продуктовый паек. Концерты начинались после полуночи (до того часа люди работали).

Помню, был объявлен концерт прославленного чтеца Всеволода Аксенова. К тому же красавца и мужа Елены Гоголевой.

Он должен был читать лирику русских классиков. Я несколько ночей до того не спал – и наслаждаться даже классиками не было сил. Поскольку ни в Аксенове, ни тем более в классиках сомнений у меня не было, я заранее написал, что «великие стихи вдохновили строителей на новые подвиги». Заверстал ту заметку в номер и отправился спать. Утром мне позвонил Голынский.

– Ну, как великие стихи вдохновили?

– Замечательно! – заверил я.

– Не могли они вдохновить. Потому что концерт не состоялся... Пути замело – и артист не приехал.

– Но это, по-моему... уж не такая большая ошибка, – промямлил я.

– Запомни, – чересчур внятно произнес он, – маленькая ложка дегтя и большая ложка одинаково отравляют бочку меда. Из-за этого «небольшого» вранья не поверят и во все значительное, о чем написано в номере: в страдания, в подвиги. Договоримся: это – первая ошибка, но и последняя!

– Я обещаю.

Больше ошибок не было. Маме я о той истории не рассказал.

Я видел: матери, которые подчас сутками вкалывали в цехах, где, по медицинским законам мирного времени, можно было находиться не более четырех или пяти часов, отдавали детям все, что полагалось «за вредность производства». И дети выпивали молоко, съедали хлеб, намазанный слоем масла, который был не толще папиросной бумаги и сквозь который просвечивали хлебные поры, кидали в стакан последний кусок сахара... Сейчас я думаю, что мы порой чересчур уж бездумно принимаем жертвы матерей своих. Принимая их, мы обязаны всякий раз задать себе вопрос: «Не отдает ли нам мать последнее? Не отдает ли то, без чего не может выжить на земле человек?»

Жертвенность материнского чувства естественна, но естественной обязана быть и наша готовность противостоять благородной «неразумности» материнских щедрот.

«В муках мы мать вспоминаем», – писал Н. А. Некрасов. И за спасением от детских недугов тоже обращаемся к ней. «Ничего страшного: я с тобой. Все пройдет...» – шепчет мама. И болезнь отступает, потому что рядом Она. «Ах, если б навеки так было!»

Возвращаясь из типографии, я нередко и с ужасом – привыкнуть к этому было нельзя! – наткнулся на бугорки, припорошенные снегом. То были люди, навсегда сшибленные с ног дистрофией, болезнями, нечеловеческой усталостью. Я думал:

«Если б здесь у людей этих были матери... Они, мамы, что-нибудь бы придумали, изобрели. Они бы уберегли детей своих, они бы не допустили...»

17 июня 1953 года маму сразил «броневой» инфаркт. Ей было всего сорок девять... Неотложка отказалась отправить ее в больницу:

– Бесполезно... Разве не видите? Ногти синеют. Она отходит.

Тогда я позвонил Борису Евгеньевичу Вотчалу, который считался в то время лучшим терапевтом не только страны, но и мира (о том свидетельствовал международный диплом). Он не отказался и сразу приехал: выяснилось, что внуки его любили мои книги того времени, которые сам я сейчас ничуть не ценю.

Могучий, седовласый красавец, он самым видом своим дарил веру в спасение. Поскольку неотложка предсказала, что сердце мамино вот-вот остановится, я еле слышно спросил академика медицины:

– А отчего сердце останавливается?

– Сначала надо выяснить, отчего оно бьется, – ответил лучший терапевт мира. – Я лично понятия не имею. Мои студенты знают и охотно вам объяснят. Но маму вашу спасу...

И он спас.

Я думал, надеялся – уже через много лет! – что искусство другого знаменитого врача, уролога, спасет маму от злокачественной опухоли. Я не знал, и никто вовремя не заметил, что метастазы вероломно проникли в кости, тайно распространились. За что выпали маме, моей добрейшей, бескорыстной, самоотверженной маме, такие страдания? Позвоночник перестал быть опорой... Она даже не могла приподняться. Анестезиологи отключили ее сознание, чтобы не ощущала последних и страшных мук. Мама бредила... А я плакал возле постели.

И вдруг... произошло то, чего, как уверяет медицина, быть не могло. Но случилось... Мама, без помощи позвоночника и всей как бы растворившейся костной системы, приподнялась, пробилась через отсутствующее сознание и спросила:

– Толюшка, что случилось?

Сквозь небытие она увидела мои слезы. Это было последнее, что она увидела. И те слова были последним, что произнес мамин голос...

Я прихожу к маме, склоняюсь над гранитной плитой. То в реальности, а то мысленно... Вовремя, при жизни их, должны мы сказать матерям все доброе, что можем сказать, и сделать для них все доброе, что можем сделать. Прости меня, мама...

Сквозь решетку Из блокнота

Когда тюремный вагон увозил отца моей жены Евсея Борисовича Фейнберга в магаданский лагерь, он на просвечивающихся папиросных листочках обратил свой голос, свою истерзанную, но не сдавшуюся палачам душу к жене... И на дальней, неведомой станции выбросил письмо сквозь решетку того застенка на колесах – в снег, в мороз, в никуда. Но письмо... дошло. Стало быть, кто-то, не побоявшись свирепого наказания (а за содействие такой «переписке» причиталось бы многолетнее заключение без права на переписку!), да, кто-то не устрасился и доставил письмо в Москву. Значит, были люди, которым и «большой террор» не мешал оставаться людьми.

«Я ни в чем не виноват!..» Чем же все-таки Евсей Фейнберг не угодил режиму? Он оказался виноват перед сталинской системой лишь в том, что был до нереальности честен, порядочен, неспособен на пресмыкательство и холуйство. Эти его качества были антиподны строю, при котором все должны были замереть «в строю», оцепеневшем от послушания. А он, сын богатого немецкого банкира, идеалист и неукротимый правдолюбец, на расстоянии поверил тому режиму, чьи провозглашения никогда не стыковались с намерениями и действиями. Поверил и устремился на созидание «светлого будущего», под которым сталинская система разумела жестокую непроглядность. Но он-то, Евсей Борисович, и его талант строителя воздвигали дома, заводы, мосты... Под светом и добром он-то разумел свет и добро. Разве могли такое простить?

Пробиться к желанному всеобщему раболепию режим мог только дорогой страха. Но не какого-нибудь обычного, заурядного, а дьявольского, еще не виданного в истории! Такой ужас и порождала сталинская, официально, разумеется, не объявленная, теория «нелогичной кары». Если кара «логична» (хоть и с точки зрения чуждой тебе логики), она предсказуема – и можно ее упредить, избежать: веди себя согласно требованиям режима – и ты в безопасности. Но нет: ты можешь быть фанатически предан коммунистической партии, с утра до глубокой ночи славить вождя, даже рисковать ради них жизнью – и будешь арестован, судим, уничтожен. А кто-то другой (как, допустим, бывший генеральный прокурор Вышинский) может быть в прошлом кадетом или меньшевиком, состоять в родстве с зарубежным священником высокого ранга – и он-то как раз будет тебя обвинять, судить, приговаривать. «Какое вообще значение имеет биография?» – демократично изречет в этом случае товарищ Сталин. Вот при такой «нелогичности» наказания, по сталинскому замыслу, должны были трепетать все, ибо неизвестно было, в кого ткнет, на кого укажет карающий перст.

Разве мог хоть кто-то – тем более в «заграничной дали» – подобное себе представить, вообразить? Это было немыслимо, потому что подобного – вновь берусь утверждать! – еще не ведало человечество. Царь Иван, прозванный Грозным, уничтожил столько единоплеменников, сколько в годы «большого террора» репрессировали, думаю, за две-три ночи в одной только Москве. А ведь «черные вороны» рыскали по всем городам и весям страны...

Ни один властитель не сгноил такого количества своих сограждан, какое замучил пытками и утопил в крови Сталин. Это известно, но надо повторять, чтобы все тоскующие по его сатанинской власти избавились от своей самоубийственной, грешной тоски.

Даже человек высокого ума и уникального образования, каким был Евсей Фейнберг, но выросший или, как принято говорить, формировавшийся вдали от ленинско-сталинских нравов, так и не сумел до конца поверить в осуществимость жестокости такого непостижимого «качества» и таких небывалых – ни в прошлом, ни, надеюсь, в грядущем – масштабов. Вот почему он все же надеялся, что восемь лет заточения, к которым был приговорен, будут

восьмью годами... Даже в Магадане он, думаю, не сразу осознал, что то была конечная станция его короткого бытия.

Достаточно увидеть его лицо, чтобы еще раз понять, убедиться: режим уничтожал лучших.

История Евсея Фейнберга – не потому, что он отец моей жены, а потому, что так и есть! – это сюжет романа, повести. Я и написал «Ночной обыск», который был опубликован в московском журнале «Октябрь». О многом из того, о чем вы прочли на предыдущей странице, мученически размышляет героиня моей, по сути документальной, повести...

Среди непонятностей, которые, наталкиваясь одна на другую, вторгаются в каждую человеческую жизнь, есть непонятность, для меня совершенно невообразимая: как, каким образом неслыханное в веках злодейство сочеталось с массовым обожанием злодея его жертвами, в том числе потенциальными, коими были почти все?! Когда моего отца и всех его друзей репрессировали, я, тринадцатилетний, понял, что это происходит не только с воевода Сталина, но и с его благословения. Задолго до своего ареста понял это и Евсей Борисович. Позже, однако, гораздо позже, из мемуаров знаменитых писателей, деятелей культуры, полководцев я узнал, что они, оказывается, верили... Во что?! Ну, у кого-то из, так сказать, рядовых граждан ужасом разум отшибло. Даже Лион Фейхтвангер, приехав ненадолго, не разобрался. Грустно, но можно понять... А вот умнейшие люди, постоянно жившие при советском строе, они-то во что верили, рискуя каждый день стать жертвами «большого террора»? В то, что все знаменитые военачальники (кроме таких дебильных, как Ворошилов, Буденный) были шпионами? В то, что вражески действовали почти все без исключения министры (в то время наркомы), их заместители, почти все поголовно командиры производства, тысячи и тысячи ученых, людей искусства, простых рабочих, крестьян? Верить можно было лишь в некое обалдении. Или все-таки лгут, что верили? Полагаю, вторая версия чаще всего и является истиной.

Другое дело, что такие «рыцари без страха и упрека», как Евсей Фейнберг, всегда считают в чем-то виноватыми и себя: «Сегодня исполнилось десять лет со дня нашей женитьбы... Слишком много тяжелого пришлось нам пережить. Но большая часть страданий выпала на твою долю». Большая часть... Так пишет он жене из сталинского лагеря смерти. «Это терзает меня сейчас сильнее всего. Ведь я лишен возможности в течение восьми лет загладить эту вину перед тобой...»

И ни одной жалобы, ни одной просьбы о сострадании. Из лагеря смерти! Через несколько месяцев его не стало...

Более бесхитростного человека, чем Евсей Борисович, отыскать было трудно. Но, поняв, что его арестуют, он пошел на спасительный для своей жены, – а стало быть, и для дочери Тани – спектакль. Изменив себе, а не жене, не своему дому, он сделал вид, что семья распалась, – и развелся. Уже потом, через много лет, мать рассказала Тане, что тот развод был подвигом мужа и отца. Евсей Фейнберг не мог допустить, чтобы жена и дочь считались «семьей изменника родины». ЧС (или «члены семьи»)... То было клеймо, которое, как правило, становилось путевкой в тюрьму, в ссылку, в детдом. Евсей Фейнберг уберег самых любимых людей от клейма. И эту историю я тоже воссоздал в повести «Ночной обыск».

«Я ни в чем не виноват!» Кажется, только одна фраза в письме была криком.

«Я ни в чем не виноват!», «Я ни в чем не виновата...» – писали, кричали, доказывали десятки миллионов. Никто не услышал.

Как же надо было вымуштровать, выдрессировать общество, чтобы оно не воспротивилось тому кошмару... и обливалось слезами, когда наконец освободилось от палача?! Как же надо было...

Заброшенный памятник С голоса

Могилы, надгробия, памятники... Иные обросли сорной травой забвения, покосились, сровнялись с землей из-за беспощадности времени: некому приходиться, никого не осталось. Но если есть кому, тогда по горестным этим пристанищам можно определить: продолжается ли жизнь того, кто ушел, хоть в чьей-то душе, в чьей-то памяти или навеки оборвана безразличием, неблагодарностью, расплатой за что-то, происшедшее на земле.

Надгробия, памятники, могилы... Нет, они не безмолвны – они свидетельствуют, они повествуют.

Первые и единственные конфликты – а верней, несогласия – между мной и мужем произошли месяца за три до рождения сына. Речь шла об имени и национальности, которыми сыну предстояло обладать с появлением на свет и до последнего вздоха. Но вспомню все по порядку.

Часами, совершая прогулки по совету врачей, я разговаривала с будущим сыном, который был будущим лишь для других, а для меня он уже существовал, даже действовал потихоньку... и не где-нибудь вдали или рядом, а во мне самой. Больше близости матери и ребенка, чем в пору беременности, наверное, не бывает. Я называла сына – то вслух, то мысленно, про себя – Фимой, потому что Ефимом звали моего мужа. С фанатичным нетерпением ждала я мальчика, потому что после, когда-нибудь он должен был стать мужчиной: как мой муж! И таким – только таким – как он. Столь нетерпеливо, порой с истеричным напряжением ждала я продолжения нашей семьи оттого, что предвкушала в этом продолжении повторение. Повторение своего мужа, его облика, его образа.

Позже, к великому огорчению, оказалось, что сын являл собой мою копию.

– Замечательная примета, – уверяли меня. – Это к счастью!

Но понятие счастье соединялось у меня только с понятием «муж». Я, испытывая претензии к слишком длительному – девятимесячному! – преддверию материнства, ждала ребенка, но знала, ни на мгновение не сомневалась, что, даже по-сумасшедшему обожая сына, я все равно буду боготворить его меньше, чем мужа. Ибо сильнее любить было попросту нереально.

Услышав, что я, обращаясь к еще не появившемуся на свет сыну, произношу его имя, муж выразил удивление. Выразил беззвучным вопросом незаданно добрых глаз, которые источали покой и надежность. Тревожащие эмоции он проявлял лишь в любви ко мне. Только в любви. А в житейской суете и в ненависти ни разу! Он, мне казалось, даже не ведал, что такое злоба и раздраженность. Никогда не повышал голос, но и не понижал... Муж был уверен, что стабильность благотворна не только в экономике, но и в общении между людьми.

Ты постоянно находишься в санатории «Душевный покой», – говорила мне мама, которая давно уже жила лишь моей жизнью. – О чем еще могу я мечтать?..

Особое спокойствие муж проявлял в ситуациях чрезвычайных. Без промедления начинал действовать. Энергия его воплощалась в поступки, а не в страхи и стрессы, которые лишь отбирают энергию действий.

Мужу казалось, что имя Ефим блеклое, ничего собою не выражает, хотя для меня оно олицетворяло смысл бытия. Узнав, что я намереваюсь сделать сына его тезкой, он ни словом не возразил, а лишь задал незадирчивый вопрос:

– Может, лучше назвать его Венедиктом? В честь моего отца... Роскошное имя!

И хоть отец мужа был, как вспоминали, человеком незаурядным и погиб в последнюю неделю войны, я упрямо хотела назвать сына не в честь его дедушки, отца своего мужа,

а в честь самого мужа. Который, кажется, впервые не уступил мне тут же, немедленно, а принялся мирно меня убеждать:

– Я не видел отца ни разу. И не слышал... Пусть мне кажется, что я вижу его в сыне и слышу в нем.

Мне следовало бы сдаться. Так было разумней. Но в противостоянии разума и любви неизменно побеждает любовь. И я настояла.

Муж мимолетно нахмурился, но сразу же преобразил недовольство в раздумье:

– Хочешь, чтобы он был Ефимом Ефимовичем? Ну, что ж... Если для тебя это имеет значение, откажемся от Венедикта. Не тревожься, пожалуйста.

Он часто просил, чтобы я «пожалуйста» не трепыхалась: нервные всплески были мне категорически запрещены. На них агрессивно реагировала моя астма.

У мужа была неповторимая, чудилось мне, способность заражать своим отношением ко мне окружающих. Термин «заражать» изначально принадлежит медицине. И это выглядело делом неслучайным, естественным, потому что наиболее зримое «заражение» проявилось в кабинете Ольги Митрофановны – выдающегося борца с астмами разных происхождений: сердечными, бронхиальными, аллергическими.

У меня была аллергия. Но на что? Ольга Митрофановна докопалась, что мои бронхи не любят цветов.

– Вам часто их преподносят? – спросила она.

– Да, постоянно...

– И кто, если не тайна?

– Мой муж.

– Вот кто виновник!

Я принялась взахлеб и по-дурацки всерьез защищать мужа. А она, отбросив в сторону свою постоянную занятость, не перебивала меня. Она слушала с любопытством... «Потому что ей неведомы те добрые и отважные мужские достоинства, которыми переполнен мой муж!» Так думала я, когда живописала Фимины качества в виде аргументов, нелепо защищая мужа от ее шутки.

Ольга Митрофановна отдалась своим пациентам до такой степени, что не имела ни семьи и ни мужа. Она обладала значительной внешностью, главной приметой которой была сосредоточенность на одной-единственной цели.

«Чтобы справиться с астмой, вероятно, нельзя от нее отвлекаться», – думала я.

Как ученый она сокрушала астму теоретически, а как врач – практически. Последнее представлялось мне более важным: мой недуг был жестоким душителем и отступал только в схватке. Кроме того, он был наследственным, – и потому Ольга Митрофановна избавляла от удуший и мою маму.

– Ты получила в наследство от меня лишь болезни, – виновато вздыхала мама.

Словесно она возводила Ольгу Митрофановну на пьедестал и называла ее «спасателем». Но муж мой привык не к восклицаниям, а к поступкам.

– Голыми руками с душителями не справишься... если ты, конечно, не каратист, – сказал он однажды. – А у нее не хватает лекарств, ингаляторов, аппаратуры. Оружие в битве не может быть дефицитом! Иначе проигрываются сражения. Скажи, неужели и нашему Фиме тоже грозит астма? Если она... по наследству.

– Может быть, – тихо ответила я, будто извиняясь, что могу, подобно моей маме, преподнести такое наследство ребенку.

– Надо предотвратить! – сказал муж.

Без настырности (но изгладиться, остаться незамеченным это не могло!) он давал понять, что и в сыне любит меня, поскольку Ефим Второй повторяет меня и лицом, и характером. «Лучше бы и тем, и другим он повторял отца!» – мысленно возражала я.

Ефим Второй – так, будто царственную особу, именовала я в полушутку сына. Но только в «полу», потому что он, действительно, был для меня вторым после Ефима Первого.

– Ольга Митрофановна спасает нашу семью, – в другой раз сказал муж, – а сама нуждается в помощи. И даже в спасении!

Это значило, что он ее непременно спасет. Совершит спасение ради спасения – меня, мамы, сына... и вообще всех, кого она старалась избавить, исцелить от удушья.

Я хотела, чтобы Ефим Второй повторил Ефима Первого, а он повторил меня.

– Ты в детстве была – ну, точь-в-точь! – преподнесла мне сюрприз мама.

Муж называл меня красавицей. Выгодно было в это поверить. И я поверила... Значит, и сын должен был выглядеть неотразимым. Однако, когда женские характер и внешность достаются сыну, а мужские – дочери, случается «нестыковка». Муж при всей своей деликатности был неотвратимо определен в намерениях и шагах. Сын же не шагал, а по-женски метался. Я жалела его и старалась привить ему отцовские качества, но возможность пересадки внутренних органов на душу и характер, увы, не распространяется. Муж был до педантичности обязателен. А если сын обещал вернуться домой часов в шесть, раньше десяти я его не ждала. Точней, не должна была ждать... Но все равно по-матерински места себе не находила.

– Не тревожься, пожалуйста, – просил муж. – Все в порядке. Ничего опасного...

И опасения сами собой рассеивались, исчезали.

По утрам мы с мужем поднимались вместе. Все двадцать пять лет. Четверть века! Он провожал меня до музея, где я была реставратором. Я и дома стремилась все реставрировать... Кроме своих отношений с мужем: они в реставрации не нуждались. Так было каждый день, каждый день... А по вечерам он заходил за мной с такой обязательностью, будто я была не супругой, а девочкой в детском саду. Изю дня в день, изю дня в день...

Для нашей с мамой спасательницы он отыскивал дорогу к лекарствам, ингаляторам и вообще ко всему, без чего Ольга Митрофановна не смогла бы справляться с болезнью-душительницей.

– Во имя медицины и возвращения людям здоровья – по крайней мере, в масштабе нашего города! – мне следовало бы заболеть всеми недугами, – как-то сказала я по этому поводу.

– Не преувеличивай. Не фантазируй, – попросил он. «Да, всем моим хворям, будь их хоть тысяча, он бы сумел дать отпор, – подумала я в тот день, который казался мне самым безысходным в истории. – А свою болезнь... проглядел. Я ее заслонила! Только я... Лучше бы этот рак легких на меня навалился! И все болезни лучше бы на меня...»

Ольга Митрофановна не была хирургом, но подняла на ноги весь медицинский мир. О, как я за нее уцепилась! И только в ней видела шанс на чудо. Она разыскала и вытащила из отпуска самого опытного онколога, дочь которого тоже спасала от астмы.

– Зачем он курил? – равнодушно осведомился хирург, ко всему уж привыкший и отучившийся горевать в обнимку с больными и их родственниками.

– Зачем курил? Работа была такая... Он отвечал за объекты, которые что-то вредное выделяли. Очень вредное. И с ними что-то могло случаться... Я точно не знаю. Муж оберегал меня...

– Его тоже следовало беречь.

Хирург сказал правду, но не потому, что дорожил моим мужем, а потому, что так говорил всем.

– Надежда есть, а? Скажите... Есть? – шепотом произнесла я, заранее ужасаясь его ответу. – Муж не хотел меня тревожить. Скрывал от меня... Есть надежда?

– Жена обязана знать, если от нее и скрывают, – проговорил он, не отвечая на мой главный вопрос. И разглядывал при этом свои, по-медицински тщательно обстриженные, ногти.

– Надежда есть?

– А сколько он курил... в сутки?

– Одну сигарету прикуривал от другой. Особенно в последние годы, – ответила я. – Но все обойдется, а?

– Как же вы допустили подобное? – вместо ответа спросил он сам.

«Как же я допустила? Как же я?.. Как же?!» – разрывал запоздалый вопрос.

– Нервничал слишком? – дежурно поинтересовался хирург.

Он был знаменитым. «Но знаменитость свою, – подумала я, – приобрел не душевностью, не состраданием.» Впрочем, от него требовались врачебное искусство и знания, а не жалостливая душевность. Где было взять ее в том количестве, какое требовала его профессия? Все равно бы на всех не хватило...

Что было на кладбище, я не помню. Говорят, кричала: «Фимочка, я с тобой!» И рвалась вслед за ним. Говорят, пять или шесть мужчин еле удерживали меня. Говорят...

Я собрала все наши сбережения, кое-что продала, кое-что одолжила. И поставила нам с Фимой памятник. Нам обоим, потому что рядом с его фотографией в темно-серый гранит врезали и мою. Под ней – день, месяц и год рождения, за ними – черточка, а за черточкой – пустое каменное пространство для даты смерти, которую я звала, мечтала приблизить. Кроме наших с ним имен, нашей фамилии и дат, на памятнике, посреди него, высечено было лишь одно слово: «Люблю...» Все субботы и воскресенья я проводила на лавочке возле памятника. Мыла его нежно и старательно, погружала в цветы.

Пожилая женщина, подметавшая кладбищенские дорожки, как-то подошла сзади и негромко спросила:

– Он знал, что ты так его любишь?

– Он так же меня любил.

Через год и четырнадцать дней после смерти мужа сын, уже студент третьего курса, зачем-то стал листать книгу, в которую мы никогда не заглядывали. Это был учебник японского языка, который забыл у нас Фимин приятель, живший в Оренбурге, но преклонившийся перед японцами. Из Оренбурга он сообщил нам лет десять назад, что учебник ему не нужен: это начальный курс, а он продвинулся дальше. Сын учился в автодорожном... Зачем ему понадобился японский язык? Вроде, ничего в жизни не бывает случайным. Но ему-то к чему было раскрывать ту книгу и разглядывать иероглифы? Иероглифы... Это слово с того дня преследует меня, как символ непостижимости.

Сын на что-то наткнулся в той книжке. Прочитал... И, как о неожиданной сенсации, крикнул:

– Посмотри, мама!

Я взяла в руки лист, вырванный из врачебного блокнота с фамильным штампом:

«Милый! Как коротки наши встречи... И как невыносимо длинны разлуки! Ты говоришь, что еще никогда так не любил. А я вообще, не любила – ни так, ни по-другому. И никому больше не скажу слова, которое повторяю с рассвета до темна (и по ночам тоже!) – все эти четыре года: «Жду!» А все другое делаю уже механически. Врачу стыдно в этом признаться...

Я жду! Но как бы ситуация не оказалась той астмой, которая нас задушит...

Твоя Ольга.

P.S. В Москву, ты знаешь, вылетаю через неделю. Буду по-прежнему писать до востребования каждый день. Если даже письма долетят до тебя позже, чем я сама... Жду!»

Я забыла дорогу на кладбище. И возненавидела сына. Разве не мог он предать то письмо огню? Превратить в клочки, которые невозможно было бы склеить? Зачем протянул его мне – и перечеркнул мою жизнь?. Которую я вспомнила сейчас так, будто все, что казалось мне счастьем, было счастьем на самом деле... Я воссоздала события с объективностью, приносящей страдания. Воссоздала точно такими, какими ощущала их в пору, когда они возникали, происходили. Зачем? Чем сильнее очаровываешься, тем мучительней разочарование, если оно наступает. Но я не была разочарована – я была убита.

Могилы, надгробия, памятники... Иные обросли сорной травой забвения, покосились, сравнялись с землей из-за беспощадности времени: некому приходить, никого не осталось. Но если есть кому...

К памятнику, покинутому одним, может приникнуть другой. Может, конечно. О своем бывшем памятнике я ничего такого не знаю. Он стал заброшенным для меня. И фотография моя там – не на своем месте. Трудно себе представить...

Надгробия, памятники, могилы... Нет, они не безмолвны – они свидетельствуют, они повествуют.

Как создавались легенды... Из блокнота

Одним из лучших редакторов издательства «Детская литература» не только считалась, но и была Екатерина Тихоновна Бобрышева. Двух ее братьев (из того же фанатичного племени коммунистов-идеалистов!) расстреляли в лубянской подвале. А третий был убит тоже пулей, но немецкой, в бою. Его имя начертано золотом на мраморе в вестибюле Центрального Дома литераторов.

Считается, что пороки с возрастом прогрессируют. Вот и «величайший вождь и мучитель» стал вовсе уж величайшим на краю своего дьявольского существования: расправа с Еврейским антифашистским комитетом, «дело врачей»... Подстраиваясь под общий политический психоз, один из наиболее инициативных московских райкомов партии снарядил «ответственную комиссию» и натравил ее на самое крупное издательство детской литературы. Самое крупное в планетарном измерении... Райкомовская чистка призвана была очистить коллектив от засорения родственниками «врагов народа». Директор издательства Константин Федотович Пискунов – один из самых святых людей, которых я когда-либо встречал, – пытался противоборствовать, противодействовать... Но безуспешно. Комиссия потребовала «убрать» в том числе и сестру «братьев-разбойников», уничтоженных еще в тридцать седьмом году. Тогда группа писателей отправилась к Фадееву отстаивать любимую Катю Бобрышеву... Лицо Александра Александровича, которое всегда казалось мне притягивающе красивым и мужественным, стало неэстетично заливаться густо-алым цветом, что резко обозначилось на фоне его белоснежной, без малейших оттенков, шевелюры.

– Обращайтесь ко мне с любыми просьбами. Кроме подобных...

Я отважился вслух изумиться:

– Значит, если б ее третий, погибший на фронте, брат был жив, его бы тоже уволили?

А тут еще подоспел донос о том, что мы с Кассилем организовали в Союзе писателей сионистский центр. Вовсю уже полыхало «дело врачей»... Помня разговор о Кате Бобрышевой, мы за помощью к Фадееву не обратились. Хотя если б «лучший друг писателей» вскоре не освободил нас – да и весь земной шар! – от себя, наша с Кассилем судьба была бы предрешена.

Однажды Сергей Преображенский, первый заместитель главного редактора «Юности», предложил мне:

– Поедем вечером на дачу к Фадееву.

– Но мы с ним едва знакомы.

– Ничего... Он любит новые лица. Особенно молодые... Тогда я был молодым.

Преображенский сам ничего не сочинял. Но и окололитературным человеком его назвать было нельзя. У него имелся врожденный литературный вкус, и он почти безошибочно отличал талант от безосновательных претензий на него. Из писателей Александр Фадеев более всего, мне кажется, тяготел к Александру Твардовскому, а из тех, кто, хоть и не пером, но служил литературе, – к Сергею Преображенскому. Сергей Николаевич был, бесспорно, в курсе всех, весьма запутанных, личных фадеевских перипетий. Но из его уст ни один, даже малозначительный факт не стал ничьим достоянием.

...Фигура Александра Александровича, склонившегося над столом в большой и пустынной комнате, олицетворяла одиночество.

– Пить не будем! Условились? – сам себя уговаривал он.

– Значит, минуя выпивку, перейдем к закуске! – поспешно согласился Преображенский. Тем более что закуску привез он сам: малосольные огурцы, маринованные помидоры, какие-то пирожки из ресторана Дома литераторов. Это действительно была не еда, а закуска.

Но Фадеев от своей трезвости в тот вечер не отказался.

– Целый день думаю, так сказать, об одном и том же.

– О чем? Или о ком? – поинтересовался Сергей Николаевич.

– О нем.

И хоть со времени смерти Сталина прошли уже годы, было ясно, кто именно тот *он*, о котором размышлял Александр Александрович.

– Он владел загадочной магией воздействия на окружающих. Так сказать, силой политического и психологического гипноза. Могу, так сказать, засвидетельствовать, потому что на собственном опыте убедился...

Бесконечные фадеевские «так сказать» придавали его речи ироничный оттенок. Словно бы он нарочно, профилактически амортизировал ими возвышенность и велеречивость, которых всегда опасался.

– Кажется, теперь помаленьку, так сказать, освобождаюсь от власти того гипноза. Выпутываюсь! Но все-таки...

Он «уступал» Сталина понемногу и очень нехотя.

– Теперь я осознаю, что были в его общении, так сказать, отрепетированность, хитрейшая театральность.

– Коварнейшая... – добавил я. Но он не услышал.

Александр Александрович уступал своего недавнего кумира, следуя велению времени и фактов, но пока еще вопреки своему желанию. Тот многолетний гипноз еще удерживал его, сопротивлялся.

С натугой высказал он мысль о том, что одно из главных стремлений диктаторов – «это, так сказать, навязчивое желание потрясать современников неожиданностью своих решений... ибо так, как мыслят они, владыки, могут мыслить только они».

А еще, по неуверенному мнению Фадеева, диктаторы (слова «тираны» он избегал) «блестяще умеют создавать о себе, так сказать, легенды, противоречащие их истинным взглядам, намерениям и их политике». Да, постепенно, но с упрямым внутренним сопротивлением он уступал Сталина запоздалым, однако, и неизбежным, праведным развенчаниям.

Фадеев считался любимцем Сталина. Но никаких любимцев у тиранов не может быть! Бывают временно приближенные, которые становятся потом навечно «отдаленными» от властителя, а то и от жизни вообще. Я робко напомнил слова давнего политика о том, что «у трона нет друзей, а есть интересы». Александр Александрович пропустил мою фразу мимо своих локаторно оттопыренных ушей. Он, и правда, принадлежал к той кучке приближенных, которую никак нельзя было назвать не только «могучей кучкой», но даже влиятельной, поскольку она ни на что серьезное не влияла. Но вождь вроде для того, чтобы посоветоваться, собирал иногда временно доверенных лиц, добавляя ее к членам политбюро, а позднее – президиума ЦК. Возникла одна из легенд: о мнимом желании диктатора «прислушиваться», что было, разумеется, признаком свободы и демократии. Это тоже являло собой одну из легенд. Кстати, в годы Большого террора распоясавшиеся следователи НКВД между собой, но почти официально, именовали обвинения, предъявлявшиеся миллионам ни в чем не повинных, «легендами».

Темы для «совместных обсуждений» выбирались либо нарочито сенсационные, либо политически значимые, но непременно такие, кои способствовали резонансу. «Временно доверенные» призваны были распространять легенды, выгодные вождю. «Пусть народ знает!» – не раз провозглашал вождь на тех обсуждениях, как бы снимая с них гриф секретности. Случайно он не провозглашал ничего.

Александр Фадееву довелось однажды быть членом правительственной делегации, отправившейся на монгольскую землю. Возглавлял ту делегацию председатель президиума Верховного Совета России Бадаев. Глава был необъятных размеров: он обожал поесть, а точнее – пожрать, и заливал обильную снедь литрами пива, по каковой причине, вероятно, знаменитому в России пивному заводу и было присвоено его имя.

Согласно древним обычаям, как объяснил нам Фадеев, жена хозяина монгольского дома, принимающего гостей, должна, завершая застолье, исполнить танец перед всеми его участниками. У маршала Чойбалсана жены уже не было, но была дочь... Она, худенькая, хрупкая, принялась изящно исполнять свою традиционную обязанность. И вдруг Фадеев с ужасом увидел, что сильно нахлебавшийся глава делегации с правительственно-гигантским, расплывшимся в стороны букетом, неуверенно покачиваясь всем своим необъятным туловищем, пытается взойти на сцену... Натыкаясь на ступени, он наконец взбирается – и не обнимает, а обхватывает дочь маршала. Букет рассыпается. А сам «глава» вместе с юной хозяйкой валится на помост... к изумлению всего дипломатического корпуса.

И вот этот международный скандал обсуждается.

Молотов считает, что Бадаева следует немедленно изгнать из партии, Каганович – что надо к тому же с треском снять с должности, а наиболее принципиальный и высоконравственный Берия убежден, что необходимо лишить Бадаева депутатской неприкосновенности (с какой целью лишить – само собой разумеется!). Сталин стоит, отвернувшись к окну, и попыхивает трубкой. Никто не видит, к чему он склоняется и к чему, стало быть, предстоит склониться всем остальным...

Наконец, вождь и учитель оборачивается и медленно, с расстановкой, подчеркнутой восточным акцентом, произносит такие слова:

– Товарищ Бадаев принадлежит к ленинской гвардии большевиков. Он был даже депутатом Государственной думы. И мы долго думали, как нам использовать опыт товарища Бадаева... Мы избрали его президентом России. И вот этот «президент» едет в маленькую страну и – позорит русский народ. Что сделать с товарищем Бадаевым? Тишина становится вакуумной.

– Исключить из партии? Не можем: не мы принимали! Итак, легенда номер один (к тому же наистраннейшая!) была рождена: Иосиф Виссарионович, оказывается, не ведает, не осведомлен, сколько не им принятых в партию из нее прямиком проследовали в застенки! Вождь между тем продолжает:

– Снять с работы? Наверно, надо. Но мало! – Вдруг Сталин, обычно размеренный в движениях, со звериной хищностью подходит к Бадаеву:

– Убирайтесь на завод своего имени. Пейте пиво. И сдохните там! Это я вам говорю, товарищ Сталин!

Глаза у вождя в тот момент, как рассказывал Фадеев, стали оловянными, остановившимися от бешенства. Он вышел и хлопнул дверью, заодно прихлопнув и жизнь бывшего депутата дореволюционной Государственной думы.

Все свершилось по сталинской программе: Бадаев был назначен директором пивного завода своего имени, неумеренно (согласно высочайшему приказу!) наливался там пивом – и вскоре скончался.

Главная легенда, созданная в тот день, должна была оповестить города и веси, что, когда речь идет о чести русского народа, вождь всех народов неукротим, непоколебим и пощады не знает.

В повестке дня другого совместного обсуждения политбюро и временно доверенных значились два вопроса: «устав сельскохозяйственной артели» и просьба о реабилитации первого секретаря какого-то комсомольского обкома, исключенного из партии за попытку изнасиловать секретаршу ночной порой в здании обкома.

Первый вопрос обсуждается не более десяти минут. Председатель совета по делам колхозов Андрей Андреевич Андреев (такое вот унылое однообразие имени, отчества и фамилии!) докладывает об уставе – и все единодушно голосуют. Кстати, Андрей Андреевич занимался в политбюро не одними сельскохозяйственными делами – по его личному указанию, например, в тридцать седьмом году был арестован мой отец.

Но вернусь к тому обсуждению... Второй вопрос – касательно комсомольского изнасилования – вызывает бурный обмен мнениями. Более всех беснуется высоко нравственный Берия. Разнообразных форм наказания требуют и Молотов, Каганович, Ворошилов, Микоян (тоже, между прочим, превративший комнату отдыха при своем кабинете в комнату активной полуночной деятельности, о чем мне тайно, спустя много лет, поведала одна из жертв – по профессии стенографистка, а по внешности – красавица). Сталин, отвернувшись к окну, попыхивает трубкой... Потом оборачивается к соратникам и высказывает медленное, раздумчивое удивление:

– Что происходит?... Вопрос первостепенной важности – о нашем крестьянстве! – не привлек к себе, мне кажется, пристального внимания. А между прочим...

Далее Сталин – последовательный организатор развала сельского хозяйства, голода, вернувший крестьянам крепостное право и приговоривший их к беспросветности трудодней – произносит отечески-проникновенную речь в защиту тех, кто «ближе всех к матери-земле».

Неожиданно его удивление становится ироничным и даже игривым:

– Теперь о втором вопросе... Что, собственно, произошло? Молодой человек, наверное, красивый, попытался навязать свою любовь девушке, наверное, тоже красивой, – и был отвергнут. Он уже наказан!

В одночасье были созданы сразу две легенды, которые – он это знал – молниеносно распространятся по городу, по стране... Во-первых, товарищ Сталин обожает крестьянство, болеет за него, сражается за его процветание. Другие руководители не сражаются, не болеют, а он – всей душой... Во-вторых (хотя это, конечно, не столь значительно), товарищ Сталин – психолог и не рубит с плеча, когда речь идет об ошибках молодости (он ведь, плюс ко всему остальному, еще и отец родной).

...Что касается моего родного отца, то он, как и отец моей жены, был из честнейшего племени романтиков. Оба за свой наивный романтизм трагически поплатились... В течение десяти лет, с двадцатого по тридцатый, отец редактировал партийный журнал. Однажды его к себе вызвал Сталин:

– Ночью не спалось. Надо бы, думаю, полистать журнал московских большевиков. Вероятно, там все в порядке... Полистал. Нет, не в порядке!

– Я, товарищ Сталин, два месяца пролежал в больнице: делали операцию.

– Вас назначили ответственным редактором, чтобы вы держали ответ за все, что в журнале опубликовано. Где бы вы в это время не находились! Вот я сейчас поработаю... А вы присядьте и пробегите глазами эту статью. Любопытно, найдете ли вы то место, которое меня смутило.

Отец, что греха таить, не без трепета принялся читать. Но «смутившие» строки были подчеркнуты красным карандашом.

– Да... здесь вот, конечно...

– Вовремя понять свою ошибку – значит, почти ее исправить, – снисходительно произнес вождь.

Сидя в камере смертников, отец вспоминал ту фразу – и убеждал себя, что Сталин не ведает о кошмарах «большого террора», что его обманывают, дезориентируют... Легенда о снисходительности вождя, созданная одной фразой, произвела на него магическое воздействие. Ныне трудно поверить...

На заседании Комитета по сталинским премиям, когда сообщили о том, что один из очень талантливых соискателей, как оказалось, «сидел» и не сообщал об этом в анкетах, Сталин изрек:

– А мы за что даем ему премию – за биографию или за роман?

«Вот он какой: анкетам не придает ни малейшего значения! Для него важны литература, талант... Стало быть, это помощнички изгаляются. Выслуживаются... Это они!» – думали, расходясь, члены комитета. И распространяли свои «думы» вокруг...

Так легенды – одна за одной – добавляли к обманному облику «друга и учителя» новые завораживающие черты.

– Я ему верил, – тихо и виновато сказал Фадеев.

«Финита ля комедия» Из блокнота

Я знал человека, который на пятнадцатый день войны обвязался гранатами и бросился под немецкий танк. Но танк остановился как вкопанный, точно врос в землю... Герой остался в живых, чем был весьма опечален. Он объяснил свою «неудачу» качеством немецких тормозов – и был арестован, а затем приговорен трибуналом к десяти годам заключения за «пораженческие настроения». Тормоза-то он похвалил вражеские! Этот фронтовой случай описан мною в романе «Сага о Певзнерах».

Фраза, одна честная фраза, была для большого палаческого воображения СМЕРШа важней (в негативном смысле!), чем немислимый героизм и беззаветная самоотверженность. Я употребляю возвышенные и даже высокопарные определения, но в данном случае и они слабы, недостаточны.

Думаю, одной из причин нашей неподготовленности к войне послужило то, что «недреманное око» служб Берии было озабочено не столько агрессивными приготовлениями Гитлера, сколько тем, кто какой рассказал анекдот, кто и как воодушевился или не воодушевился при упоминании «вождя и мучителя».

Безразличие к человеческой жизни, полная ее девальвация – вот самая чудовищная примета сталинской эпохи.

Тот, кто в грош не ставит чужую жизнь, обычно патологически дорожит своей собственной. Ценность людей определялась не их достоинствами, не их нужностью стране, народу, человечеству, а занимаемой должностью. В годы войны пришлось, однако, пойти на некоторое отступление от этого циничного правила. Власть вынуждена была изменять самой себе. Порой в неожиданных ситуациях.

Вот, к примеру, стали охранять, оберегать и... Юрия Левитана. Значение силы и воздействия его голоса было уникально: люди обретали надежду, уже, казалось, безвозвратно утерянную, обретали возможности, которые, чудилось, до конца иссякли. Можно без пафосного преувеличения сказать: его возлюбил народ.

Трудно подозревать в любви к нему также и Иосифа Виссарионовича. Я мысленно восклицаю: «Боже, какой же у Юрия Левитана был голос, если величайший антисемит Сталин в годы войны позволил этому голосу стать голосом всей державы!»

Левитан часто носил с собой посеревший и словно съезжившийся от времени листок, на котором было написано: «Объявите меня только как...» Далее был указан лишь один из многочисленных высочайших постов вождя. Какой именно, я точно не помню... Подписи не было, но фраза принадлежала перу – а точнее, красному карандашу – товарища Сталина. Так прямо и было написано: «Объявите» – без твердого знака. Как в «исторической» фразе о слабой, по мнению самого М. Горького, поэме «Девушка и смерть»: «Эта штука сильнее, чем «Фауст» Гете: любовь побеждает смерть» – слово «смерть» было лишено мягкого знака. И многие газеты ежегодно, в день рождения Алексея Максимовича, цитируя то откровение вождя, печатали слово «смерть» без его завершающей буквы: раз Иосиф Виссарионович так написал, стало быть, так и надо!

– Сталин успел передать мне эту записку, – рассказывал Левитан, – 3 июля 1941 года, буквально за минуту до того, как я включил микрофон и объявил, что «работают все радиостанции Советского Союза». Он сообразил, я думаю, что нагромождение высших чинов и званий не соответствовало трагизму и отчаянности тех дней. Хотя «главным виновником» трагизма, коим являлся, он себя, конечно, не ощущал...

Да, всю войну Юрия Борисовича охраняли. Узнал он об этом позже. За его голову Гитлер сулил гигантскую сумму марок. И это не выдумка, не легенда...

Когда Лев Кассиль «привлек» меня к передачам с Красной площади, которые, между прочим, велись из бельевого отдела ГУМа, что как-то не соответствовало их парадности, я и познакомился с Левитаном.

– Я милого узнаю по походке, а Левитана по голосу, – помню, кокетливо пошутила в студии популярная актриса.

– По голосу души и таланта, – без всякой шутливости дополнил кто-то.

И я подумал: а ведь действительно, каждый день (каждый!) его душа и талант помогали нам верить, проникать не просто в «приказы» и «сообщения», а в смысл происходящего. Тот смысл определял судьбу человечества...

Юрий числился «всего лишь» диктором, но из истории его вычеркнуть невозможно. А так, в повседневности, не позволял своей легендарности высовываться – был прост без намека на простоватость, остроумен без намека на хохмачество, любил изящество и красоту (прежде всего, я полагаю, женскую).

Левитан записывал и, так сказать, запечатлевал для грядущего все смешные оговорки, которые безвозвратно улетали в эфир. «Слово – не воробей: вылетит – не поймаешь». Странная поговорка: попробуйте-ка поймать воробья! Так вот, в первой же передаче я обогатил левитановский «оговорочник». Это было давно: на парад еще выходила конница. Я и сказал: «Вы слышите цокот копыт командного состава...»

Чуть позже, когда мы покидали студию, Юрий Борисович обратил мое внимание на человека, в чьей седине угадывались пряди беды и скорби.

– А он вот за свою «оговорку» почти заплатился жизнью, – сказал Левитан.

Юрий Борисович понемногу терял слух – и потому иногда спрашивал: «Я не громко?..»

Тот человек был одним из первых организаторов праздничных трансляций с Красной площади... В 1934 году Москва встречала челюскинцев. Всенародные празднества были в моде. «Ох ты, радость молодая, невозможная!» Сие должно было провозглашаться не только голосом Любви Орловой с экрана, но и настроением миллионов дома, на работе, на собраниях и площадях. Поскольку «жить стало лучше, жить стало веселее», это новое качество жизни, в преддверии «большого террора», обязано было обнаруживать себя везде и повсюду. Тем более на встрече челюскинцев...

День выдался не просто по-летнему ясный, а как бы затопленный солнцем. Сталин так прочно обосновался в центре мавзолейной трибуны, будто и не намеревался ее покидать.

А меж тем «литературный материал» у прозаиков, поэтов и дикторов, разумеется, подготовленный заранее, уже истощался. Наконец, все заготовленное и многократно завизированное прозвучало... Импровизировать же было не принято.

По крайней мере, импровизации тоже подлежали цензурной проверке. «Главлитчик», а по-простому – цензор, бдительно впивался в наспех сочиненные, не вызывавшие ни малейших сомнений оды и панегирики – и благословлял их цветным карандашом (карандашная роспись и тут считалась почему-то солидней, предпочтительней, чем тонкий след пера).

Но и источники вдохновения постепенно иссякали, мелели, а в голоса пробивалась естественная, но недопустимая для такого дня усталость. Москвичи же продолжали ликовать, не желая считаться с трудностями воспевателей, изнывавших в гумовском бельевом отделе. А вождь в белом летнем кителе умеренно помахивал рукой и умеренно то ли улыбался, то ли ухмылялся в усы: у вождей чрезмерных проявлений быть не должно.

Но вот последние демонстранты собрались возле мавзолея, бурно признались в любви и верности вождю (тут уж ничто не могло считаться чрезмерным!); Сталин в сопровождении соратников неторопливо спустился по ступеням и скрылся внутри мавзолея, откуда подземный ход ведет непосредственно в Кремль.

Тогда руководитель радиотрансляции, еще не седой, опустился на стул и произнес:
– Ну, «финита ля комедия»!
Забылся? Расслабился? А микрофон отключен не был.
Домой он вернулся через восемнадцать лет...

Отец и дети С голоса

Фамилия директора школы, где в тридцатые годы учились дети членов политбюро, была Гроза.

Газетные строки

Тоннеля не было. Но свет в конце был: в самом конце, за которым нет уже ничего, – нереальный, неземной свет. И неузнаваемый, потому что нельзя узнать то, чего никогда не видел.

И в том загадочном озарении возникли дети мои. Все трое... Давно уже взрослые, но для меня – все равно дети. Они встречали меня. И не выглядели гонимыми мучениками, коими оказались в свои последние годы, – наоборот, они, чудилось, источали тот самый свет, который я видел в конце. Нетерпеливый свет ожидания...

Я попытался крикнуть, чтоб они, не дай Бог, не исчезли, не дождавшись меня. Но голос, и ноги, и все мое тело были свинцово скованы, как часто случается в снах. Хотя не оковы сна парализовали меня, а оковы небытия. В привычном земном понимании... Небытие, наконец-то, пришло, а время оторваться, взлететь еще не настало.

– Я всегда утверждал, что клиническая смерть – это еще не смерть, – раздался совсем рядом самонадеянный, прокуренный бас. Я даже уловил его табачный запах, пробившийся сквозь марлевую повязку. – Все-таки мы его вытащили.

«Не вытаскивайте меня... Не возвращайте! Не надо... Не разлучайте снова с детьми, которые ждут и встречают!..» То был вопль души, который невозможно услышать. Да если бы они и услышали, все равно бы не подчинились.

А потом я полужаснул... И мне вдруг привиделось, что судьба детей моих схожа с судьбой детей Сталина. Его сыновей, его дочери...

– Не спать! Не спать!..

Ладонь, грубая и тяжелая, как приказ, ударила меня по одной щеке, затем – по другой. Или это было наказание за тот полусон? Который выглядел нерешительным, боявшимся самого себя – и сразу исчез. Осторожный мой сон...

– Фамилия директора школы – Гроза. И это, тем не менее, – женщина. Я в какой-то книге читал, что «хорошая женщина лучше хорошего мужчины, но плохая – хуже плохого мужчины». Однако поверь: она – вроде «грозы в начале мая». Помнишь: «когда весенний первый гром, как бы резвяся и играя...»? Она тоже может, «резвяся», отчитать – и сама же принесет извинения. Мне о ней подробно рассказывали. Гроза – это только фамилия, а не характер.

Так уговаривал я своего друга стать вместо меня преподавателем математики в той школе, куда меня таинственно зывали.

– А что же ты сам не идешь?

– Видишь ли... Для меня, вдовца и отца троих детей, это сложно. Школа-то, что скрывать, единственная в своем роде. Ты знаешь, там учатся дети товарища Сталина. И сын его будет как раз в твоём классе. Если ты согласишься пойти. Дело непростое, конечно. Нервное... Но мне сказали, что Иосиф Виссарионович требует в данном случае видеть в нем не вождя, а родителя. К сыну же проявлять неукоснительную объективность. И если тот, допустим, заслужит двойку (всякое случается!), тройку ему ставить нельзя. Ни в коем случае... – Странно, но я произносил все это с неестественной четкостью и в полный голос, словно желая, чтобы услышал это кто-то еще, помимо моего лучшего друга. Или даже услы-

шал и записал. – Как отец товарищ Сталин сам просматривает дневник и в нем регулярно расписывается.

– Вероятно, много желающих пообщаться с таким автографом. Зачем же перебегать им дорогу?

При слове «пообщаться» я огляделся.

– Просили порекомендовать того, за кого я могу поручиться. Как за себя!

Лучший друг поддался моим уговорам. И стал обучать математике сына вождя. Он ставил ему плохие и посредственные отметки, поскольку на другие сын «гения», похоже, не рассчитывал. Друга моего поощряли за «безупречную принципиальность», не подчеркивая, разумеется, к кому он ее проявлял. Даже учитель (с заглавной буквы!) поставил однажды в заслугу учителю (с буквы обыкновенной) его «строгость и требовательность».

Но после, через годы, далеким задним числом обнаружилось, что мой друг «унижал и порочил сына вождя»... по заданию иностранной разведки.

Когда меня вернули на землю, где все это произошло, я нежданно подумал: а не настигло ли меня наказание Господне за лучшего друга, которого я порекомендовал... на Голгофу?

Между своими детьми и всем остальным миром я, не натываясь на раздумия и даже на миг не затормозившись, выбирал детей своих. Между Вселенной и ими, тремя, – тоже их. И в этом, наверно, я не был оригинален... А они? Желать (а тем более требовать!) полной взаимности от взрослых детей – нелепо и несправедливо. Они вживаются в тот спектакль, в коем родители не должны претендовать на главные роли. Даже постановщиками, режиссерами матери и отцы могут быть, но главными действующими лицами – вряд ли. Нарушать традиции, установленные людьми, удастся, но установленные природой – почти никогда.

Поэтому я без досады осознавал, что старший сын всем существом отдан своей невесте и небу, так как был военным пилотом. Дочь тоже находилась на небе... Но на «седьмом», поскольку с малолетства была околдована рисованием и сверстником из соседнего дома. Сверстник пребывал по той же причине на том же (по счету!) небе.

А младший сын отдан был Богу. Можно сказать, что и Небу... Но в особом, надзвездном смысле. «Надзвездные края»... Не только же лермонтовский демон в силах был «умчать» туда, но и святая Вера.

Против увлечений моего первенца и моей дочери государство не возражало. Но призывание сына младшего осуждалось официально, непререкаемо. Бог, Вера... Вроде нету понятий выше?

– Принизить высокое и возвысить низкое – не в том ли цель и триумф абсурда? – как-то сказал младший сын.

Я промолчал, лишь так, затаенно, выразив беспомощную тревогу. Беспомощную, потому что никто не смог бы оградить сына от его убежденности, не допускавшей сомнений.

Марксистское учение предлагало «все подвергать сомнению», а марксистское государство за то же самое нещадно карало. Нестыковка провозглашений и дел была приметой эпохи. Сын мой не смел сомневаться в истине, а страна не смела сомневаться во лжи. Так я думаю ныне. А тогда? Я бы и на порог своих размышлений не подпустил подобную ересь... Нет, не в меня пошел Гриша.

Младшего сына с детства прозвали Блаженным. У него ни от кого не было секретов и уж тем более – тайн. Просто он не совершал ничего такого, что следовало скрывать. «Человек, который клянется, что говорит только правду, уже лжет», – писал мудрейший Монтень. И он почти прав. Почти... Потому что, как выяснилось, и тут случаются исключения. Как раз за такую исключительность моего сына исключили из школы.

Следовало отъединять разум от языка, а мой Гриша синхронно произносил то, что думал. Сперва это удивляло, потом стало изумлять и настораживать. Еще позже Гришу

заподозрили в «психическом отклонении». Но оказалось, что отклоняется он лишь в сторону правдолюбия. Это считалось опасным заболеванием.

– Библию открыто читает?!

Заболеванием, похоже, выглядело не то, что читает, а то, что открыто.

Путать нормальность с патологией тоже было свойством режима. И карать за достоинства... Гриша же, я был уверен, только из достоинств и состоял. Среди них главными были совесть и честь. А поскольку на пост чести и совести назначили партию коммунистов, Гриша, вроде вполне мог стать ее членом. Но предпочел монастырь.

Жена моя умерла при его родах. Из-за него, как убедил себя Гриша, навечно расстались с ней и я, и он сам, и брат его, и сестра. Чувство вины отягощает лишь тех, кто отягощен совестью. Но и они чаще всего стремятся взваливать собственные грехи на невинные плечи и души. А младший мой сын взваливал на себя и вины несуществующие, ничьи. Дома Гриша был по-монастырски безмолвен, непрерывно пекся о нас – и тем искупал мнимый свой грех. Но если при нем нападали на человека, он внезапно обнаруживал голос:

– Обижать человека стыдно! А его до того заобижали, что он и обиду-то ощущать перестал...

Гришин сосед по парте путал Муму с Каштанкой, а наизусть запоминал исключительно частушки из подворотни. «Всю злость и всю досаду» он излил на учительницу литературы, а заодно – на ее «любимчика», который от рождения был Антоном, а по прозвищу – Антоном Павловичем. В честь автора той самой «Каштанки». И потому еще, что сам сочинял.

Гришин сосед по парте никому не прощал необычности и успехов. Когда же ему объяснили, что Антон Павлович – это Чехов, а что Чехов – великий писатель, он немедленно придумал для Антона другое прозвище: Выкормыш.

– Все мы чьи-нибудь выкормыши, – сказал Гриша. – Вначале мама выкармливала... Каждого кроме меня.

– Я не про это... Он не такой выкормыш!

– А какой?

– Не знаешь, что ли? Вражий он выкормыш! Отец-то его...

Гриша потребовал суда чести: для защиты Антона, его отца, учительницы литературы... И Чехова!

– А может, потребуешь гильотину? Или «на дыбу» виновника? Или на плаху? Или на лобное место? – поинтересовалась классная руководительница, которая преподавала историю. На памяти у нее были все виды судилищ, все способы наказаний разных стран и режимов. Кроме суда чести... И еще она умолчала об «особых совещаниях», «показательных процессах» и «тройках». Хотя к современности они прилегали гораздо плотнее.

В своем прозвище Блаженный Гриша насмешки не ощущал. Вступаясь за униженных и оскорбленных, сын все, что касалось лично его, принимал с монастырским смирением.

– Блаженный-то он блаженный... А, вишь ты, суда возжелал! – докладывала на педагогическом совете учительница истории. – Это боженька ему посоветовал? – Поизмываться над Верой считалось признаком хорошего тона. – «Опиум для народа» так наркотиком и остался. Помните, он, Блаженный, затеял создать комитет помощи детям врагов народа? Скандал был чуть не на весь город. Еле отмылись. И вот опять... Предложил бы комитет помощи детям друзей народа! Но этого боженька ему не подсказал... Я давно уж предупреждала: попику в советской школе не место!

Место для Гриши отыскалось в заброшенном монастыре. Если б предвидели это те, что зазывали меня в особую школу!

Старший сын Боря и дочь Катерина по характеру тоже были защитниками. Все трое уродились мамиными детьми... Мать их и меня неустанно от чего-то уберегала. В летний воскресный день, на даче, – от перегрева, накрывая голову газетным самодельным пирож-

ком, а вечером – обороняла веером от вьедливой мошкары. В будние дни она пыталась заслонять меня от завистников, что было сложнее и безнадежнее, чем от назойливых комаров. Завидовать же в ту пору было чему: жена, кою называли «видной женщиной», чтоб не назвать красивой; сын и дочь, которых именовали рослыми, милыми, избегая назвать одаренными маминым обаянием и маминой внешностью.

А как жена охраняла меня от недугов! Хотя, к несчастью, – понимаю это лишь ныне, в беспробудном своем сиротстве – здоровье мое было неодолимым. Господи, пошли, наконец, недуг, который бы его одолел!

Катю и ее сверстника из соседнего дома, которого звали Виссарионом, сближала, кроме страсти обыкновенной, страсть к рисованию. На бумаге и холсте они воссоздавали друг друга. Катя дарила Виссариону его поясные портреты, сосредоточиваясь на лице. А он изображал мою дочь в полный рост, акцентируясь не столько на очаровании ее лица, сколько ее фигуры. Во мне это вызывало затаенный отцовский протест...

Прямая и властная шея Виссариона, его мощно развернутые, словно готовые принять на себя чей-то прыжок, плечи выглядели по-мужски безупречными, соответствовали самым придирчивым нормам. Но лицо нормам не соответствовало. В нем наблюдались противоречия: строгая правильность черт, беспомощность близоруких глаз и бесшабашная изобретательность озорства.

Катина кисть извлекала из-под стекол, казавшихся многослойными, многослойный характер Виссариона. Как отец, я был уверен, что при всей своей близорукости он бы и без очков разглядел наследственную неотразимость моей дочери.

Виссарион раздражал педантов историями, которые по-актерски искусно рассказывал, и песнями собственного изготовления. Он не намеревался бросать вызов правилам общества, как мой младший сын, но и необычность считалась вызовом. «Художественная натура!» – говорили о нем поклонники, которым он внимал, и поклонницы, которых, по Катиному требованию, игнорировал.

А еще Виссарион забавлялся дружескими шаржами, дружественность которых иногда было не разглядеть. Но именно в этих случаях он дарил шаржи тем, кто являл собой скорее мишень, чем натуру.

Дети мои с младенческих лет не ведали страха. И это меня страшило... Виссарион тоже вроде был лишен боязни. Но он с рождения имел «охранную грамоту». Ею, как ни странно, стало его редкое имя. Папа Виссариона – заядлый литературовед – назвал сына в честь Белинского. А многие полагали, что в честь сапожника, но зато – отца «отца всех народов». Иосифов вокруг было много... Кроме того, имя это могло принадлежать не только русскому или грузину, но и представителю иной национальности, заискивать перед которой вовсе не следовало. Виссарионами же звали только двух знаменитостей: того самого великого критика и того сапожника из города Гори. Любые претензии к обладателю столь уникального имени могли казаться политически преднамеренными.

Виссариона это расковывало – на фоне всеобщей зажатости. И хоть раскованность его, разумеется, имела пределы, он часто выглядел независимым храбрецом. Это тоже сделало его не только душой общества, но и «душой» моей дочери.

Война началась двадцать второго июня. И старший сын Боря отправился защищать Отечество не двадцать третьего и не двадцать пятого, а немедленно – в первый же день.

Проводы продолжались всего часа полтора. Прощались мы не надолго: «Через полмесяца или месяц будем в Берлине!» Приятели сына – все с петлицами небесного цвета – мужественно поскрипывали портупьями, что всегда производило на меня, штатского, впечатление. «Я – военный человек», – часто напоминал Боря. И сдержанный скрип портупей подтверждал это.

Боря был отчаянным патриотом. Не только страны, но и системы. Ему не присвоили в срок очередное воинское звание, да и вообще служебное продвижение его застопорилось. «У вас семейные неполадки!» – сказал ему начальник управления кадров. Неполадками были Гриша, его «уход» в религию, а заодно – и уход из школы.

– Ничего особенного: мое дело – не продвижение по земле, а парение в воздухе. Прости за громкую фразу, – сказал Боря. – А Грише – ни слова!..

Он ни разу не упрекнул брата, не попытался его переубедить, обратить в свою веру. Но и патриотизм его ни к кому не имел претензий. Нечто дьявольское придумал режим: что бы ни вытворял он с людьми, патриотизма не убавлялось.

«Гремя огнем, сверкая блеском стали...» – пел, сверкая блеском молодости и бесстрашия, Боря со своими друзьями.

Пилоты и штурманы всех нас, остающихся, твердо заверили: «Любимый город может спать спокойно...». Ровно через месяц на Москву полетели фугаски.

Потом Виссарион снял со стены гитару. Борины приятели его не любили: они тайно любили мою дочь. Мне даже чудилось, что вначале они покорялись Кате, а потом уж – чтобы ее лицедреть – притирались к моему старшему сыну.

Виссарион напевал, а каждый Борин приятель молча задавал Кате вопрос: «Если тут мы, рыцари в португезах, то зачем тебе «художественная натура» в очках?»

Отправляясь на фронт, каждый испытывал порой неосознанную жажду оставить в тылу кого-то, с чьим образом невозможно расстаться и ради встречи с которым победу следует торопить. Такими образами не были мамы и папы. И не стоило обижаться... Для Бориных же приятелей, пришедших тогда в наш дом, таким человеком была моя дочь.

По-родственному Катю обожали только мы с Борей. И Гриша.

Дочь бралась лишь за то, что умела. «Если б при твоём снайперском глазе художницы еще был и слух певицы, это выглядело бы излишеством, – сказал как-то Виссарион. – Другое дело – мое дилетантство...» Он словно бы себя не щадил. Или украшал скромностью.

Судьбу портретистки Кате предрекали отменную. «Она все про нас знает!» – глядя на портреты ее кисти, восхищался Виссарион. Будто сам и не стремился в художники.

В тот день Виссарион позволил себе не подключаться к общему патриотическому настрою, а спел любимый Гришин романс «Уж не жду от жизни ничего я...». Мало что изведав, младший сын воспринимал свою жизнь, как минувшую. И к ужасу, не ошибся. Хотя, может быть... как раз после, не на грешной земле, не здесь...

На проводы младший сын не смог бы успеть. И находчивый Виссарион романсом как бы обозначил его присутствие...

«Если бы Борис обождал, если б не напросился на тот новый аэродром возле границы!» – без конца повторяла его невеста, так невестой и оставшаяся. На проводы она, как и Гриша, не успела примчаться... из какой-то мирной командировки, которая в день прощания представлялась уже никому не нужной, смешной. Но невеста Борина не смеялась, а твердила тогда и потом: «Если бы он обождал!» Та фраза сделалась приметой ее сумасшествия: «Если бы он обождал!»

«Если бы не тот аэродром, возле границы, – думаю я сейчас, – он не попал бы в котел, в окружение... в плен!» Но война окружила его и загнала в лагерь. Мог ли сын мой представить себе, что не успеет подняться в небо? Что самолет его разбомбят на земле? Что истребители наши станут как бы истреблять своих же пилотов, ибо запоздало окажется, что они непрочны, будто фанерные, и азартно воспламеняются? Мог ли мой Боря вообразить, что главнокомандующий скомандует числить его предателем? Как и остальных пленников. Защитники-предатели, предатели-герои...

Победа, освобождение... Те слова представлялись неразлучными близнецами. И вот свершилось! Освобождение началось.

Из лагерей Гитлера невесть как выживших пленных переправили в лагеря Сталина. И моего старшего сына тоже... Тогда младший мой сын объявил голодовку. Безмолвный, покорный Гриша... Который более всего покорен был справедливости.

Кто-то, по команде всполошенно примчавшийся, объяснил Грише:

– Брату вы не поможете.

– Почему?

– Потому что его уже нет. Внезапно заболел и скончался... Инфекцию занесли из немецкого лагеря. Это была диверсия!

– Тогда я буду голодать, пока не выпустят остальных. В память о брате.

Это нарушало законы монастыря, куда, как известно, со своим уставом входить запрещается. Настоятель тоже принялся наставлять согласно своему положению:

– Лишать себя жизни грешно.

– А чтоб спасти многие жизни?

– Грехом не спасешь.

Чтобы не подводить настоятеля – Гриша не подводил никого! – мой сын умер. Не от голода, не от физического бессилия, а от бессилия что-либо изменить. И с горя...

Грише солгали: брат его был расстрелян. За то, что в сорок первом он не успел взлететь. «Выяснилось», что он не поднялся в воздух сознательно: чтобы сразу же сдаться врагу. Государство спихивало злодейскую вину свою на своих неповинных граждан. Ибо оно, государство, не могло быть виновным ни в чем.

Когда провозгласили победу, моя Катя трудилась в колхозе... Вместе с другими студентками художественного института и студентом Виссарионом, не призванным в армию «по близорукости». Всех будущих живописцев отправили на «картошку».

Торжество решили отметить пиром. Скинулись всей своей сельскохозяйственно-художественной бригадой. Собрали привезенные из дома банки с тушенкой – главным деликатесом военного времени.

Виссарион же готовил концерт, который был бы достоин победы над Гитлером. Он собирался продемонстрировать шаржи, кои вовсе уж не выглядели дружескими, поскольку Виссарион изобразил фюрера, Геринга и, разумеется, Геббельса. Про них же он собирался рассказывать анекдоты. А потом – под гитару петь самые что ни на есть фронтовые песни. Он знал их в таком количестве, что, похоже, не расставался с фронтовой полосой.

У Кати не было музыкального слуха, но она отчетливо слышала, как восторгалась Виссарионом все до единой студентки. А кем еще они могли восторгаться? Война непрерывно приносила разлуки (временные и вечные!), а Виссариону – преклонение целого факультета. Даже деревенская девушка Кланы, измотанная, изможденная, для того, чтобы заворочиться, силы в себе нашла.

Катя была спокойна, потому что речь шла не об одной конкретно влюбленной, а о целом обожающем коллективе: это всегда безопаснее. В его же чувствах Катя не сомневалась. Он не раз предлагал ей замужество... Но Кате казалось, что устраивать свадьбу, которая виделась счастьем, в пору всеобщих несчастий – стыдно. Она напряженно ждала победы не только от ненависти к фашизму, но и от любви – к Отечеству и Виссариону. Время от времени он показывал Кате свои настойчивые заявления в военкомат с просьбой призвать его на войну... и свидетельства медицинских комиссий, которые выполнить воинский долг ему упрямо мешали.

Катя вызвалась отправиться за картошкой и капустой на вечернее колхозное поле. Чтобы ужин не унижил событие! А соответствовал бы ему. Хоть в какой-то степени... Не удовлетворяться же в русском селе американской тушенкой!

– Возьми с собой Кланы: она и в темноте сумеет разглядеть, выкопать, – посоветовал Виссарион. – А не то ведь я со своей близорукостью...

Он, быть может, впервые сослался на скверное зрение. Обычно он пользовался любым случаем, чтобы оказаться наедине с Катей. Особенно же во тьме... «Наверно, его одолело чувство ответственности за концерт», – подумала дочь. Но ведь раньше иное чувство одолевало все остальные...

Кланы, в отличие от Катиных неприятельниц, считавшихся приятельницами, перед дочерью моей преклонялась: красота в атмосфере ужаса производит особое впечатление. Она отправилась с Катей во тьму с той безусловной готовностью, с какой раньше отправлялся Виссарион.

А на другой день «о краже с колхозного поля» донесли куда надо. Это сделала, выяснилось на следствии, одна из отвергнутых Виссарионом поклонниц. Режим предельно упростил, укоротил дорогу к сведению счетов... Любовь же, если она мстительна, в средствах себя не стесняет. Дочь моя о той неудовлетворенной и разъяренной страсти не ведала.

– А о том, что нельзя воровать, ты ведала? – спросил следователь. – Да еще и доверчивую колхозную девушку вовлекла!

Доверчивость не была оправданием: Кланы тоже арестовали. Хотя «копала она под нажимом и руководством». Это было для моей дочери отягчающим обстоятельством, а для Кланы – смягчающим. Интеллигенты всегда виноватее.

Кланы преследовал лишь закон. А Катю – еще и мужчины, закону тому служившие. На нее претендовали и следователь, и прокурор, и тюремщики. Но так как притязания остались лишь притязаниями, Кате, «согласно указу», полагались восемь лет лагерей: примерно по году за каждые две картофелины и один кочан.

Виссарион написал заявление, что готов отбыть тот срок вместо моей дочери. Но он знал, что заявление это будет отвергнуто, как и просьбы отправить его на фронт. «В нем не было бесшабашности, – думаю я сейчас, – а было умение выигрышно выглядеть даже в проигрышных ситуациях. Бог ему судья...»

У дочери моей выхода не было. Кроме раскрытого, незарешенного окна следовательской комнаты на восьмом этаже.

Как в финале шекспировских трагедий, жизнь покинул, будто сторел, почти весь наш дом. К несчастью, почти... «Нет повести печальнее на свете...» – написал классик. Но были повести печальнее. Были!

Есть сны, которые навязчиво повторяются. Чаще всего это тяжкие сны. Или вещи... Мне они зачем-то напоминают о том, что у Сталина тоже были два сына и дочь. И что внешне, на поверхностный взгляд, история их в чем-то схожа с судьбой моих детей. Впервые это явилось ко мне на операционном столе. И сновидения эти я воспринимаю, как продолжение болезни... Память настаивает на фактах, на совпадениях, которые мне неприятны. Хоть как-то, задолго до тех сновидений, я сквозь отчаяние произнес: «Испытал бы он на себе!»

Размышляя, поперек воли своей, о детях «вождя и учителя», я всякий раз приношу покаяния другому учителю – ни в чем не повинному учителю математики, – которого я... А сам-то дожил чуть ли не до ста!

Старший сын Сталина тоже был пленен, как и мой старший сын. И тоже расстрелян в лагере... Но в немецком. Все-таки расстреляли враги! А того сына, младшего, в дневнике которого расписывался повелитель, сослали за кражу. Но не картофелин и капусты для «пира победы», а каких-то государственных сумм для пиршества собственных удовольствий. Он спился и сгинул... Сгинула и моя дочь. Она-то за что? За что-о?! «За что?» – это самый безответный вопрос. Но отделаться от него я не могу. Как и от «сравнений», навязанных мне сновидениями.

Дочь тирана заброшенно доживает свой век в католическом монастыре, в зарубежье, куда отец ее даже птицам пытался перекрыть путь. Разве она похожа на моего Гришу?

И все же... Судьбы детей его можно было бы считать карой. Можно было бы считать... Если б он любил их, несчастных своих сыновей, и дочь, закинутую в одиночество. Но он был единственным – единственным, думаю, во всей человеческой истории, – кто не любил никого. Единственным на века! На тысячелетия... А достался моим детям. И мне...

Запоздалые покаяния Из блокнота

Запоздалые раскаяния, быть может, подобны тем добрым намерениям, которыми «дорога в ад вымощена». И все же... Лучше поздно, чем никогда. Осознание вины – это в какой-то степени ее искупление.

Однажды (опять однажды!) раздался звонок из Киева. В трубке моего московского телефона возник застенчивый, сбивчивый голос:

– Простите, что без спроса врываюсь... Я – Костя Ершов. Вы меня не знаете... Я кино-режиссер, хотя ни одной картины еще не снял. Но читал и перечитывал ваши повести в «Юности»: это мой любимый журнал. Выбирал, что бы экранизировать...

– И на чем остановились?

– На «Позднем ребенке». Повесть, мне сказали, получила в Америке премию... Но для меня дело не в премии, а в том, что это произведение мне очень нравится... Вы разрешите его экранизировать?

И вот примерно через полгода на телеэкранах появился киновариант моего «Позднего ребенка». Отца играл Василий Меркурьев (это была его последняя роль), маму – прекрасная актриса Антонина Максимова, одного из главных героев – молодой Куравлев, а другого – Адоскин... Закадровый текст мастерски читал любимый мною Вениамин Смехов. Редкое актерское содружество! А вот сам фильм мне не лег на душу... Костя Ершов предложил, как говорится, «свое прочтение», мне же дорого было то произведение, к которому я привык. Когда фильм «принимало начальство», самая ответственная в ту пору на телевидении дама принялась настоятельно шептать мне в ухо: «Неужто вы согласитесь с этим? Вас исказили... Невозможно узнать ваших героев! Что за самовольство такое?!» И я поддался... Фильму присвоили «вторую категорию», а не первую и тем паче – не высшую. Это было ударом по самолюбию, а одновременно и «по карману» начинающего режиссера. А я тот фильм (и Костю, значит, тоже!) не поддержал... Мог бы встать на защиту, но не встал. Или сделал это вяло, неубедительно. Нет, я не боялся начальства... А просто внутренне на сей раз с ним согласился.

Сейчас не могу без дрожи вспомнить побелевшее лицо Кости, и так-то болезненно-бледное.

– Вам... не понравилось? – еле слышно проговорил он. И я, обычно чересчур стговорчивый и уступчивый, неожиданно для самого себя ответил:

– Честно говоря, нет...

Но вдруг... после телепоказа мне позвонил Иракий Андроников: «Поздравляю! Это новое слово в киноискусстве! Замечательный фильм...» «Вы в самом деле так думаете?» «А разве можно думать иначе?»

Вскоре позвонил мой друг-кинematографист: «Ты читал?!» «Что именно?»

– Восторженную статью Анатолия Эфроса про твой фильм! В «Искусстве кино»... Ну, знаешь, таких слов от Анатолия Васильевича дожидаться нелегко! Он же предельно взыскателен. А здесь... Вот послушай: «Мы обычно смотрим телевизор рассеянно и урывками, а тут как сел, так и просидел до конца... Нарисовал Дега своих голубых танцовщиц, и хотя там нет ничего драматического, а только в разных позах стоят несколько балерин, но столько грации, и вкуса, и тонкости в этой картине, что оторваться невозможно. Так и здесь, в фильме, – просто сидят за столом несколько милых людей и беседуют, а тебе очень интересно, и ты увлечен, потому что все от начала до конца лирично – юмор мягкий, все красиво и точно... И все до мелочей это семью выражает... В воспоминаниях детства

есть всегда легкая загадочность. К этой легкой задумчивости многие стремятся, когда ставят фильмы, но немногим это удается, потому что не так просто создать некую дымку воспоминаний. Тут нужна удивительная мера и нежность... И тогда действительно передается чувство детства и семьи... Мне почему-то вспомнилось при этом, как Достоевский в «Братьях Карамазовых» говорил, что человек обязательно должен в себе сохранить свое детство, и чем больше в нем этих воспоминаний остается – тем лучше».

В той прошлой жизни за телефон не платили в зависимости от продолжительности разговоров, – и мой друг долго еще читал и комментировал:

– Ты подумай: это пишет Анатолий Эфрос! И какие у него ассоциации: Достоевский, Дега...

Все эти ассоциации, конечно же, прежде всего относились к замечательному, как оказалось, кинорежиссеру Косте Ершову.

– Ты, конечно, поддержал уникальный режиссерский талант? – спросил, но ничуть не сомневался в моем утвердительном ответе восторженный друг.

– Нет, – растерянно ответил я. И положил трубку. «Как же я не увидел? Не почувствовал? Не оценил?!» – терзали меня вопросы, на которые я не находил вразумительных ответов. И решил дней через пять, после предстоявшей мне короткой командировки, отправиться на телевидение и посмотреть картину заново. Но спешить в Гостелерадио мне не пришлось: фильм на следующей неделе прокрутили по первой программе еще раз. (Не в связи со статьей Анатолия Эфроса, а просто так уж совпало!) Однако в непосредственной связи со статьей мне стали звонить многие писатели, режиссеры, актеры: они тоже увидели картину и были с Эфросом абсолютно согласны. И тоже убежденно восхваляли режиссера, а заодно, ради приличия, и меня.

Когда я стал вновь и вновь встречаться на телеэкране с фильмом по своей повести, терзания мои обострились: как же я мог, как посмел не заметить, не понять? Как мог не защитить Костю от сбивавших меня с толку чиновников?! Пусть стилистика, интонация были не моими... Что из того? Его талант имел право...

Стал названивать в Киев, чтобы извиниться перед Костей Ершовым... и спросить, каким образом можно хоть что-то исправить (с категорией и так далее), а значит, исправить в какой-то мере и материальное положение режиссера, который очень нуждался.

Мне отвечали, что Костя находится в другом городе и на съемках другого фильма. Вскоре та сильнейшая картина – «Грачи» – с Леонидом Филатовым в главной роли (мне кажется, его первое столь значительное появление на экране) была оценена по достоинству. А фильм «Поздний ребенок» тем временем прокручивали по телевидению десятки раз. И чем внимательней, пристальней всматривался я в Костино произведение, тем больше оно меня покоряло: так бывает лишь с искусством подлинным. В помощи Костя Ершов, похоже, уже не нуждался...

Надо было лишь извиниться и вымолить у него прощение. Я решил сделать это не по телефону. А в Киев позвонил лишь для того, чтобы предупредить Костю о своем приезде.

– Его нет, – ответил мне такой же, как у него, робкий, сбивчивый голос.

– А когда он будет?

– Никогда... Он умер.

Костя умер внезапно. Как и внезапно поразил всех его дар...

Прошло много лет. «Прости меня, Костя...» – говорю я. И, может быть, он услышит? Может, поймет мое запоздалое покаяние? Может, примет его и простит?..

Некоторые, к моему изумлению, вспоминают свои школьные годы с неприязнью. А я люблю свою школу, приятелей детства. Были у меня и любимые учителя. Вообще, я более всего почитаю две профессии: учителя и врача. Эти призвания в чем-то схожи: один и дру-

гой заботятся о человеческом здоровье – только первый о здоровье нравственном, а второй – о физическом... Помню, всегда я ждал встреч с уроками литературы. Мария Федоровна Смирнова не «проходила литературу» (ибо «проходить» можно лишь мимо чего-нибудь), а приобщала нас к великим творениям. То были не только уроки литературы, а и уроки гуманизма.

Мария Федоровна говорила, к примеру:

– Ванька Жуков написал письмо «на деревню дедушке». Но, допустим, оно все же дошло... Что бы дедушка ответил Ваньке?

И мы все, ученики 4-го класса «Г», отвечали Ваньке от имени дедушки и звали его обратно в деревню и обещали, что все будет хорошо. Да, это были воистину уроки доброты...

Мария Федоровна первой знакомилась с моими незрелыми литературными опусами – и давала строгие, бесценные советы.

А потом все мы расстаемся со своими учителями... В жизненной круговерти, увы, не так уж часто вспоминаем о них и уж совсем редко с ними видимся. Бывает, конечно, и по-иному. Но, что греха таить, случается это как исключение... Прости нас, Господь!

Мария Федоровна сама прислала мне письмо. Сообщила, что внимательно «следит» за мной, не пропускает ни одной моей повести, ни одного моего спектакля. Обозначила в конце номер своего телефона, свой адрес. Я немедленно отозвался... И договорились мы непременно встретиться. «Только не надо надолго откладывать», – словно извиняясь, проговорила она. Следовало отправиться к ней в тот же вечер... Но были съемки очередной моей телепередачи «Лица друзей». Сейчас я думаю: почему так часто повседневная суета, и в том числе «Лица друзей», как бы отстраняли от меня лица моих личных друзей, не позволяли порой к ним прорваться? Хотя друзьями своими я всегда искренне и безмерно дорожил... После передачи нагрянули репетиции спектаклей в других городах, на которых я обязан был присутствовать. А еще позже... Не хочется перечислять.

Наконец – как только выдался просвет! – я позвонил, чтобы встретиться со своей самой любимой учительницей. И мне ответили... что ее уже нет. Она же предупреждала: «Только не надо надолго откладывать.» Наверно, была больна. Но не настаивала... из-за неизменной своей деликатности. Куда же девалась моя деликатность? Почему мы порою откладываем именно то, что касается самых близких, самых любимых? А потом рвем на себе волосы... всю жизнь я, честное слово, старался откликаться на просьбы, помогать, «протягивать руку». Но все же случалось: туда, куда необходимо было устремиться немедленно, в первую очередь, не устремлялся. Суета, суета...

«С добром надо спешить, а то оно может остаться без адресата», – говорит один из моих персонажей. Он прав.

Запоздалые покаяния. Примите их все, перед кем виноват! К кому опоздал... Примите и простите, если можете.

Сочинял я когда-то не только стихи, но и тексты песен (кстати, вернувшись к тому жанру в более поздние годы, написал слова пародийных куплетов для популярного в свое время спектакля по моей пьесе «Мой брат играет на кларнете», а к стихам всерьез не возвращался более никогда!). В качестве поэта-песенника я и явился к композитору Тамаре Попатенко, теперь уже почти позабытой. Жила она на Хорошевском шоссе в одном из двухэтажных коттеджей, построенных пленными немцами и слегка напоминавших этикие европейские виллы, но оказавшихся очень непрочными и ныне уже ветхих или вовсе разрушенных. В те коттеджи, пытаясь, видимо, приноровиться к их полуевропейскому виду, вселяли главным образом деятелей культуры. Наиболее видные получали отдельные квартиры, а рядовые – комнаты, образуя коттеджные коммуналки. Тамара Попатенко занимала одну комнату... А из другой, помню, вышел молодой человек явно еврейской национальности, растерянно и неумело державший на руках запеленутого, словно в кокон, ребенка.

«Композитор Оскар Фельцман... Начинаящий, но очень даровитый!» – представила мне «новорожденного папу» Тамара.

Зигзаги судеб неисповедимы и непредсказуемы... Лет через четырнадцать моя жена Таня, работавшая в «культурном учреждении» с весьма длинным и громоздким именем – Союз советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами – и фанатично заботившаяся о молодых дарованиях, послала на конкурс юного пианиста-виртуоза Володю Фельцмана, того самого младенца, который скрывался в коконе... на руках у начинающего композитора и начинающего родителя.

Еще лет через пять Володя завоевал гран-при на престижнейшем музыкальном конкурсе имени Маргариты Лонг и Жака Тибо. Судьба мальчика из «кокона» была и тяжелой и триумфальной. Вначале он колесил с гастроями по стране: победитель международного конкурса музыкантов-исполнителей выступал во второсортных концертных залах, а чаще в провинциальных Домах культуры, в клубах, усыпанных шелухой от семечек... Не могу забыть его блистательное исполнение бетховенских сонат в одном из сочинских залов, где присутствовало человек двадцать, из которых примерно девять – в том числе и мы с женой – были приглашены самим Володей. Зарубежных гастролей он почти не удаивался. В конце концов, Володя Фельцман посягнул задумать отъезд из страны – и немедленно стал отказником. Это продолжалось томительно долго... Каждый день по восемьдесят часов выдающийся пианист играл, репетировал дома, но свидетелями его виртуозного дара так и оставались лишь домашние стены. Наконец, когда стал намечаться международный скандал, даже прежние власти смилостивились, отпустили... Давно уже Владимир Фельцман в США. Он – профессор консерваторий, дни его концертов пунктуально расписаны на годы вперед, он приглашается для выступлений и в Белый дом...

Мы с женой всегда относились к Володе нежно и заботливо. Тут никакие покаяния не требуются...

Но вот в отношениях с его отцом, бывшим «начинающим» композитором, а затем – заслуженным деятелем искусств, народным артистом России – был у меня один, я бы сказал, «нравственный сбой». Увы, был...

В 1968 году на сцене Московского ТЮЗа состоялась премьера спектакля «Мой брат играет на кларнете», успех которого был (без преувеличения!) ошеломляющим. И, безусловно, одна из решающих заслуг, определивших стилистику представления, принадлежала Оскару Фельцману (тому самому, некогда державшему на руках будущего профессора американской консерватории и победителя Международного «конкурса конкурсов»): спектакль-то был музыкальный! Один из первых советских мюзиклов...

До сих пор я нередко слышу ту фельцмановскую музыку. И многие, напевая или исполняя ее со сцены, уже не вспоминают, а часто и не подозревают, что неизменно мелодичные – то озорные, то раздумчиво-грустные, то лихие, искрометные – песни родились в спектакле Московского ТЮЗа, завоевавшего первые места, по-моему, на всех или почти на всех театральных конкурсах конца шестидесятых...

А потом пригласил меня в гости знаменитый кинорежиссер, народный артист СССР Александр Зархи (автор фильмов «Депутат Балтики», «Анна Каренина» с Татьяной Самойловой в заглавной роли и других столь же памятных лент). Зархи – один из патриархов советского кинематографа – руководил Творческим объединением на «Мосфильме» и захотел, чтобы его объединение, создав картину на тот же сюжет, превзошло на экране громкий тюзовский успех! «Но фильм по форме не должен быть повторением спектакля буквально ни в чем!» Явился режиссер – эдакий бравый, самонадеянный авангардист, обильно рассуждавший о киноноваторстве. Меня это насторожило, я всегда консервативно был убежден, что в искусстве, как и в математике, есть величины постоянные, а есть переменные, и что лишь реализм – величина, безусловно, постоянная. Но все же меня убедили, что бра-

вый новатор сумеет «переплюнуть» популярность спектакля. Поскольку картину сразу же наименовали «музыкальной», пригласили и композитора – очень талантливого, знаменитого, исполнявшегося не только у нас, но и за рубежом, – однако тоже новатора и, как мне показалось, увы, далеко не «мелодиста». А киномюзикл обязан был подарить зрителям новые любимые песни и танцы, но прежде всего – мелодии. Как подарил их спектакль...

– Я не могу, не смею «устранить» Оскара Фельцмана, которому «Мой брат играет на кларнете» в значительной степени обязан своей судьбой!..

– Те его песни уже всем известны, – возражали мне.

– Он сочинит новые, – и они, поверьте, станут такими же популярными!

– Два раза в одну реку не входят...

Одним словом, я сдался. И ощутил это вскоре чуть ли не предательством друга. Оскар вначале обиделся, но потом простил меня и одаривал своими мелодиями другие мои спектакли (кстати, в одном из них песни исполнял как бы за сценой великолепный актер Валентин Никулин).

Фельцман-то простил, но судьба не простила: новая музыка очень нравилась «специалистам» – искусствоведам, но, к сожалению, не была принята зрителями. Быть может, музыка та была изысканно-прекрасной. Может быть... Но почерк композитора, которого искренне почитаю, не соответствовал жанру картины. А музыка в музыкальном фильме – одно из главных действующих лиц! Кроме того, режиссер-новатор и «новых» актеров подбрал согласно своим воззрениям. Он не понимал, что достичь в искусстве простоты (высокой простоты!) гораздо сложнее, чем сложности. Ни один актер, игравший в спектакле, приглашен не был. Режиссера преследовала навязчивая цель: картина ни в чем не должна напоминать спектакль. И цель была достигнута: спектакль-то стал настоящим праздником, а картина осталась никем не замеченной. И слава Богу, что никто ее не приметил!..

Я даже решил переименовать фильм в «Сестру музыканта», чтобы он не бросал тень на спектакль, который не сходил со сцены около пятнадцати лет и в ТЮЗе и в других театрах. Итак, я был наказан за свою неверность...

И окончательно понял: неблагодарность, которую я, к несчастью, проявил, непременно карается.

Оскар просил меня не затевать обсуждений этой печальной истории. И я не затевал... Но вот сейчас, в своих воспоминаниях, хочу принести запоздалое покаяние. Еще одно... В Москве отмечалось 70-летие Оскара Фельцмана, – и я говорю ему: прости, друг!

А сколько предстоит принести покаяний, чтобы совесть была и вовсе чиста? Трудно ответить... Для этого надо припомнить все свои прегрешения. Возможно ли это? Но я постараюсь... Думаю, уже пора.

Поэтом должен «ты не быть» Из блокнота

С детства я сочинял стихи, которые очень нравились моим тетям и дядям. Поэтому, когда собирались гости, кто-нибудь непременно просил:

– Толечка, почитай нам свои стихотворения...

И я читал. Ближайшие родственники аплодировали. На мою беду (что выяснилось позднее!), стихи стали охотно печатать в детских газетах и журналах, декламировать по радио.

В годы войны, работая ответственным секретарем ежедневной газеты на той оборонной стройке, я публиковал свои патриотические стихи, которые кое-кто даже вырезал на память, заучивал наизусть. Что, впрочем, не мешало стихам быть весьма посредственными сочинениями... Меня, однако, именовали поэтом.

А в 1947 году, в Москве, состоялся первый «Всесоюзный форум молодых писателей» (так его неофициально называли), и я удостоился быть делегатом...

– Тебе повезло: будешь в семинаре у Маршака и Кассиля, – сообщили мне.

Выслушав мои стихи, Маршак спросил:

– А вы чем-нибудь другим заниматься не хотите?

Стихи, которые так нравились моим дядям и тетям, Маршаку, стало быть, не понравились. И тогда, уже в комнате отдыха, талантливая, добрейшая, хоть, увы, и подзабытая Тамара Габбе позволила мне нарушить покой мастеров и прочесть им семистраничный рассказ. Особенность его состояла в том, что по содержанию он был трагическим, а по форме... комическим. Кассиль и поддержавший его Маршак стали убеждать меня вычеркнуть из своей «творческой биографии» стихи и писать прозу.

– Непременно сохраните столь редкий дуэт смеха и слез. Непременно! Это ваш стиль, ваша интонация. А без стиля и интонации не бывает литературы, – сказал Лев Кассиль.

Рассказ (тут уж на мое счастье!) услышал и случайно зашедший в комнату Паустовский.

– Пусть эта новелла станет первой главой повести, – посоветовал Константин Георгиевич. – И если вся повесть будет не хуже первой главы, я берусь ее редактировать.

Что ж, все сбылось: «творческим редактором» моей первой книги стал Паустовский.

А все стихи свои я не вычеркнул, как мне советовали, а предал огню. Сжег... И это, вероятно, единственное, что сближает мою биографию с гоголевской...

Так была спасена от меня отечественная поэзия. Больше я стихов всерьез не писал. Лишь для спектакля по своей повести «Мой брат играет на кларнете», где в главной роли высокоталантливо проявила себя Лия Ахеджакова, я сочинил тексты пародийных песен. В театре и кино мне, кстати, везло на актеров: в других моих спектаклях играли Валентина Сперантова, Валентин Никулин, Ирина Муравьева, а в фильмах, снятых по моим повестям, главные роли исполняли Василий Меркурьев, Евгений Лебедев, Алиса Фрейндлих, Вениамин Смехов, Зоя Федорова, Борис Чирков, Сергей Филиппов, Леонид Куравлев, Адоскин, Алла Покровская... Приятно вспомнить!

Еще о Самуиле Яковлевиче... Это был мудрейший мудрец, великий детский поэт и великий переводчик. Впрочем, в золотой век русской литературы понятием «переводчик» не злоупотребляли, а писали: Пушкин (из Байрона), Лермонтов (из Гейне). Так же, уверен я, можно написать: Маршак (из Шекспира), Маршак (из Бернса). Ради справедливости! Сюжет ведь в стихах порой мало что определяет. К примеру, видел я подстрочник бессмертного стихотворения о любви, который выглядел примерно так: «Я любил вас очень сильно, теперь

люблю уже не так, как прежде, и пусть другой вас любит, как любил я!..» А у гения-то: «Как дай вам Бог любимой быть другим...»

В предпоследний год жизни Самуила Яковлевича мы с ним отдыхали и работали в ялтинском Доме творчества. Однажды творческое безмолвие, нарушавшееся обычно лишь стуком пишущих машинок, взорвали горны и барабаны. Прибыли из пионерского лагеря «Артек» приглашать Маршака и меня. Что делать? Поехали...

В жаркий и душный полдень Самуила Яковлевича усадили в соломенное кресло на «костровой площадке». И он, отменнейший собеседник, принялся рассказывать и читать стихи. Но никто из юных участников встречи... не слушал. Некоторые даже повернулись спиной к классику (да, да, классику!) и что-то наигрывали на гитарах своим несовершеннолетним подругам.

Когда очередь дошла до меня, я ограничился одной фразой, пожелав артековцам ясного неба и теплого моря.

К нам, вспотев на жаре, подбежал начальник «Артека» (помню, даже томительный зной не заставил его расстаться с осенней велюровой шляпой):

– Прекрасная встреча! Незабываемый праздник!..

– Но почему же дети не слушали? – прервал его я.

– Не обращайтесь внимания! Это ребята из «международной смены» – они по-русски ни слова не понимают. Но зарядку коллективу дали отличную!

Это был апофеоз формализма: пригласили великого и больного Маршака, чтобы выступить перед ничего не понимавшей по-русски аудиторией.

...Самуил Яковлевич курил ровно столько, сколько не спал: одну папиросу прикуривал от другой. Чтобы «напугать» его, я процитировал терапевта с мировым именем: «Почти все, что человеку хочется, для чего-нибудь нужно его организму. Только не никотин... Курение – это акт медленного самоубийства».

Маршак горестно развел руками, словно посочувствовал себе самому. А потом уж мне попало его шуточное четверостишие:

Жил на свете Маршак Самуил...
Все курил, и курил, и курил,
Все курил и курил он табак.
Так и умер товарищ Маршак...

Давно это было, поэтому слово «товарищ» можно простить. Так он и умер: легкие не выдержали.

Моя бабушка Анисия Ивановна С голоса

Слушание дела было назначено на двенадцать часов. А я прибежала к одиннадцати утра, чтобы заранее поговорить с судьей, рассказать ей о том, о чем в подробностях знала лишь я.

Народный суд размещался на первом этаже и казался надземным фундаментом огромного жилого дома, выложенного из выпуклого серого камня. «Во всех его квартирах, – думала я, – живут и общаются люди, которых, вероятно, не за что судить... Но рассудить нужно многих. И вовремя, чтобы потом не приходилось выяснять истину на первом этаже, где возле двери, на стекле с белесыми островками, было написано: «Народный суд».

Каждый воспринимает хирургическую операцию, которую ему приходится вынести, как едва ли не первую в истории медицины, а о смерти своей мыслит как о единственной в истории человечества. Суд, который был назначен на двенадцать часов, тоже казался мне первым судом на земле. Однако за два часа до него началось слушание другого дела. В чем-то похожего... Но только на первый взгляд, потому что я в тот день поняла: судебные разбирательства, как и характеры людей, не могут быть двойниками.

Комната, которая именовалась залом заседаний, была переполнена. Сквозь щель в дверях, обклеенных объявлениями и предписаниями, я увидела судью, сидевшую в претенциозно-высоком кресле. Ей было лет тридцать. Склонившись над своим торжественным столом, как школьница над партой, она смотрела на длинного, худого, словно выдавленного из тюбика мужчину, стоявшего ко мне спиной, с детским недоумением и даже испугом... Хотя для меня она сама была человеком с пугающей должностью.

Народных заседателей сквозь узкую щель не было видно.

Неожиданно дверь распахнулась – и в коридор вывалилась молодая, дебилая женщина с таким воспаленным лицом, будто она была главной героиней всего происходившего в зале. Женщина, ударив меня дверью, не заметила этого. Мелко дрожащими пальцами она вытаскивала сигарету, поломала несколько спичек, но наконец закурила, плотно закупорив собой вновь образовавшуюся щель. Она дымила в коридор, а ухом и глазом, как магнитами, притягивала к себе все, что происходило за дверью.

– Кого там судят? – спросила я.

Женщина мне не ответила.

– Мама, поймите, я хочу, чтобы все было по закону, по справедливости, – донесся из зала сквозь щель слишком громкий, не веривший самому себе голос мужчины, выдавленного из тюбика.

Возникла пауза: наверное, что-то сказала судья. Или мама, которую он называл на «вы».

– Что там? – вновь обратился я к женщине с воспаленным лицом.

Она опять меня не услышала.

На улице угасающее лето никак не хотело выглядеть осенью, будто человек пенсионного возраста, не желающий уходить на «заслуженный отдых» и из последних сил молодящийся.

В любимых мною романах прошлого века матерей часто называли на «вы»: «Вы, маменька...» В этом не было ничего противоестественного: у каждого времени своя мода на платья, прически и манеры общения. В деревнях, я знала, матерей называют так

и поныне: там труднее расстаются с обычаями. Но в городе это «вы» всегда казалось мне несовместимостью с веком, отчужденностью, выдававшей себя за почтительность и деликатность.

«По закону, по справедливости...» – похожие слова я слышала совсем недавно из других уст. Их чаще всего, я заметила, употребляют тогда, когда хотят встать поперек справедливости: если все нормально, зачем об этом кричать? Мы же не восторгаемся тем, что в наших жилах течет кровь, а в груди бьется сердце. Вот если оно начнет давать перебои...

На улице как-то неуверенно, не всерьез, но все же заморосил дождь. Я вернулась в коридор и опять подошла к женщине, превратившейся, казалось, в некий звукозаписывающий аппарат.

– Перерыв скоро будет, не знаете? – спросила я, поскольку в коридоре, кроме нее, никого не было.

Она оторвалась от щели и шепотом крикнула мне: «Не мешайте!» – словно присутствовала на концерте великого пианиста и боялась упустить хоть одну ноту, хоть один такт.

«Наверняка должен скоро быть, – решила я. – И можно будет поговорить, посоветоваться...»

Всю ночь я репетировала свой разговор с судьей. Придумывала фразы, которые, я надеялась, услышав от меня, она запомнит и повторит во время судебного разбирательства.

Но беседа оттягивалась, и я, подобно студентке перед экзаменационной дверью, стала вновь как бы заучивать факты, аргументы и даты. Они незаметно вытянулись в ленту воспоминаний – не только моих собственных, но и чужих, которые при мне повторялись так часто, что тоже стали моими.

Я знала, что прежде существовали «родовые поместья», «родовые устои», «родовая знать»...

А у меня была родовая травма. Врач-акушер на миг растерялась, замешкалась. И в моей еще ни о чем не успевшей поразмышлять голове произошло кровоизлияние, но, как сказал, утешая маму, один из лечивших меня врачей, «ограниченного характера». Характер был «ограниченный», а ненормальность охватила весь мой организм и стала всеобщей. Собственных впечатлений о том первом дне жизни у меня, к сожалению, не сохранилось. Но история моей болезни вошла в историю: не потому, что я заболела, а потому, что в конце концов вылечилась. Это был уникальный случай. И мой младенческий кретинизм даже попал в учебники.

Я благоговела перед врачами. С заискивающей надеждой заглядывала им в глаза... Но не раз думала и о том, что вот так, от одного неловкого движения акушера зависит вся человеческая жизнь: Моцарт не станет Моцартом, а Ван Гог или Суриков не смогут держать кисть в руке, не подчиняющейся рассудку. Да и простые смертные вроде меня будут приговорены к вечным страданиям. Из-за одного неловкого движения человека, который не имеет права на такое движение, ибо еще более, чем судья, определяет будущую человеческую жизнь, а в случае секундной ошибки выносит незаслуженный приговор и всем, кто к этой жизни причастен.

В отличие от нормальных детей я не ползала и вообще не проявляла склонности «к перемене мест».

На это обратили внимание в тот самый момент, когда моя бабушка собралась выходить замуж.

«Первая и последняя!» – называл ее шестидесятилетний жених.

– Он влюбился в меня, когда нам едва исполнилось по семнадцать, – впоследствии рассказывала мне бабушка. – Но между нами ничего не было.

– Совсем ничего? – цепко спросила я.

- Кажется, был... один поцелуй.
- Именно в семнадцать? Бабушка кивнула.
- Синхронно! – воскликнула я. – У меня тоже в семнадцать...
- И я ничего не знала?!

– Сообщи я немедленно, этот запоздалый поцелуй показался бы землетрясением. А так, видишь... все живы-здоровы. Хотя мама, как говорится, оказалась непосредственной свидетельницей.

- Каким образом?
- Увидела из окна.

Бабушка не нашла в поцелуе ничего угрожающего моей жизни. Она понимала меня с полуслова. А часто и полслова не нужно было произносить. Только взглянет – и сразу готов диагноз: «Ты больна?», «Ты обижена?». Во всех случаях она предлагала одно и то же, но безотказно действовавшее средство: «Ничего страшного!»

Действительно, после того, что случилось со мной в изначальный миг моей жизни, ничего уже не могло выглядеть страшным.

Бабушка любила вспоминать, как ее первый возлюбленный объявился через сорок три года.

- В позднем браке есть свои преимущества: не хватит сил и времени на развод!

Мама отговорила ее от «неверного шага».

– Это противоестественно! – восклицала она. – Природой для всего установлены свои сроки.

Насчет природы мама была в курсе дела: она занималась охраной окружающей нас среды.

– Но и от окружающей среды приходится охранять! – уверяла она бабушку. – Что ж получается? всю жизнь имел жену, а теперь ищет няньку!

Это маму не устраивало: нянька нужна была ей самой. Хотя тут я, наверное, не вполне справедлива: прежде всего нянька нужна была мне.

И бабушка не пошла под венец.

– Правильно сделала! – сказала я, впервые услышав от нее эту историю. – В семнадцать поцеловал и закрепил до шестидесяти? Где он был раньше?

– Там же, где я: в своей семье. Нас разлучили обстоятельства. И они же опять свели: мой муж умер, а он остался вдовцом. Встретившись, мы оба помолодели.

– Почему же тогда... давно...

– А ты? – перебила меня бабушка.

И больше я не задавала дурацких вопросов.

Бабушка была папиной мамой.

А мамина мама руководила моим воспитанием с другого конца города по телефону: она объясняла, что мне рекомендуется есть, сколько часов гулять, а сколько посвящать сну. Она изучила все случаи родовых травм – и делала по телефону выводы, сравнения, указывала, как именно меня надо спасать.

В пору моего раннего детства врачи предупреждали родителей, что соображать я кое-что буду, но расти мне придется отсталым ребенком. Я помнила эти прогнозы: значит, и в то время немного соображала. Но только чуть-чуть... И двигалась плохо, и говорила с трудом.

Бабушка, отказавшись от супружеского счастья, взялась за меня.

– Мама, поверьте, мне не нужно ничего лишнего! Я по закону хочу, – продолжал заклинать в зале судебного заседания длинный, худой сын. – Поэтому я и пришел в суд. В наш, советский! Который по справедливости...

Что ответила ему мать, я не услышала. И отошла от двери, возле которой, закупорив собой щель, по-прежнему дымила воспаленная дебелая женщина.

«По закону, по справедливости!» Да, это были знакомые мне слова.

Говорят, что у каждого человека в жизни должна быть цель. Но даже самых заветных целей бывает много. Или в редком случае несколько. У бабушки же со дня моего рождения цель, действительно, была только одна: поставить меня на ноги. Сначала в прямом, а потом в переносном смысле.

По профессии бабушка была медсестрой. Муж ее, то есть мой дедушка, погиб на войне, когда еще его самого, девятнадцатилетнего, в доме считали внуком.

– Вот ты не веришь, что можешь научиться читать... – воспитывала меня бабушка. – А я даже не спать научилась. И ничего страшного! Все ночи проводила у постели больных.

– Все ночи?!

– Почти. Помогала им как могла. Иногда удерживала, не отпускала.

– Куда?

– На тот свет... И заодно подрабатывала.

Зачем ей нужно было подрабатывать, бабушка не объясняла мне. Но отец однажды сказал:

– Чтобы я был одет не хуже других в своем школьном классе. И питался не хуже. Чтобы в театр ходил, в кино... как остальные.

Бабушка хотела, чтобы и я была «не хуже других». Это стало ее основным желанием.

Она рассталась со своей больницей.

– Это подвиг – оставить любимое дело! – сказала мама.

– Я, конечно, привыкла... – ответила бабушка. – Но ничего страшного.

– Тем более что и дома все будет, так сказать, в сфере вашей профессии.

Мама пользовалась четкими, отточенными формулировками.

Меня показывали докторам наук и профессорам. Я с утра до вечера глотала порошки и таблетки. Меня растирали, массировали. Когда ребенок в доме хронически болен, все подчинено этому горю. Подавлено им. Мама и папа, когда оставались вдвоем, кажется, ни о чем, кроме моей болезни, не говорили.

Они отчаивались, страдали, а бабушка общалась со мной, как со здоровой.

– Ничего страшного! – уверяла она. – Даже имя твое говорит об этом.

Меня зовут Верой.

Из всех профессоров, которые были брошены на мое спасение, главным оказалась бывшая медсестра. Мне трудно было ходить, а она просила:

– Сбегай-ка за газетой!

Я плелась вниз и вверх по лестнице, но верила, что когда-нибудь побегу.

У бабушки были не сердобольные, а спасительные для больного человека глаза: они не подавляли сочувствием, не повергали в сомнение слезливыми, туманными обещаниями, а просто убеждали, что не происходит «ничего страшного».

Умный, всегда загорелый лоб и абсолютно белые, без малейших оттенков волосы укрепляли бабушкины диагнозы и предсказания.

Я помню, что слова долго не вступали со мною в контакт: язык был тяжелым, не подчинялся. А бабушка, не замечая этого, без конца со мной разговаривала. Она вовлекала меня в беседы так естественно, а порой властно, что язык начинал понемногу сдаваться.

Некоторые взрослые поступали иначе. Они делились в моем присутствии своими тайнами, как при глухой. «При ней можно!» – слышала я. Сами того не желая, они настырно убеждали меня в моей неполноценности.

Частенько к нам навевался мамин соратник по борьбе с загрязнением окружающей среды Антон Александрович.

Загрязнение среды на его внешности не отразилось: он всегда был в сахарно-белоснежных рубашках, в свитерах – то пестрых, то одноцветных, то с короткими рукавами, то с длинными, которые сидели на нем складно, будто в магазинной витрине.

С годами я поняла, что людям свойственно обнаруживать в своей внешности то, что им выгодно обнаруживать, и прятать то, что выгодно прятать.

«Все хотят выглядеть красиво, – позже не раз думала я. – Одна из главных человеческих слабостей!»

Антону Александровичу выгодно было выпячивать спортивность своей фигуры, и он, не нуждаясь в портных, плотно облегал себя свитерами.

Заходил он только «по делу». Меня это настораживало. Хотя мне в ту пору исполнилось всего лишь семь лет, я догадывалась, что для дел больше подходил научно-исследовательский институт, где они вместе с мамой работали, чем наша квартира в отсутствие папы. Появлялся же Антон Александрович чаще всего по субботам и воскресеньям, когда папа у себя в музее приобщал людей к искусству минувших веков.

А может быть, я увязывала эти события бессознательно. И лишь через много лет мне стало казаться, что я и в неразумном младенчестве все понимала.

– Мы с вами люди самой модной профессии! – сообщил маме Антон Александрович.

Это «мы с вами» заставило меня отменить прогулку и остаться дома.

Антон Александрович всегда приносил мне подарки. И очень шумно вручал их. Но его шоколад я не ела: «Слишком какой-то сладкий!» А с его куклами не играла. Он подлизывался ко мне. И это тоже было тревожно.

Особенно он заботился о том, чтобы я дышала незагрязненным воздухом нашего двора. Но выпроводить меня на улицу ему ни разу не удалось.

Выслушав его сообщение о том, что «на дворе сегодня очаровательная погода», я усаживалась куда-нибудь в угол и угрюмо молчала.

Он приписывал это моей крайней отсталости.

– Не достать ли какие-нибудь импортные лекарства? Японские, например? – предлагал он. – В этой области, по части мозга, японцы добились ошеломляющих результатов!

В конце концов, полностью уверовав в мою несмышленность, он решил объясниться маме в любви.

– Софья Васильевна... Сонечка! Загляните пристальней мне в глаза. Неужели вам ничего не ясно?

И тут я заорала... Я схватила маму за руку и потащила в другую комнату, чтобы она не успела заглянуть в глаза Антону Александровичу.

– Верочка все поняла! Вы видите, Антон Александрович? Это уже не просто «некоторое улучшение», а бесспорный прогресс. Она на пороге выздоровления. Какое чудо! Какое огромное счастье!..

Этот «порог» спутал все планы Антона Александровича, и он, мрачно восхищаясь, покинул наш дом.

В тот же вечер мама, захлебываясь, рассказывала обо всем папе:

– Ты представляешь, Антон Александрович решил выразить мне свои чувства. Не впрямую, конечно. Полунамекками... Как джентльмен! Я не успела еще ничего толком сообразить, а Верочка уже все поняла. И воспротивилась. Это же замечательно! Она не просто научилась выговаривать слова и лучше ходить – она вникает в психологию человеческих отношений!

Мама, конечно, была права, поскольку это длинное – психология – начинается со слова «псих». Так я мысленно шутила впоследствии.

А тогда мне было радостно от сознания, что для мамы любовь ко мне все-таки дороже успеха. Это я поняла!

Папа радовался тому, что случилось, несколько меньше мамы. Но все же механически, вполголоса повторял:

– Это новая стадия... Новая стадия!

– Какие стадии, не пойму? – удивилась бабушка. – Она все понимает не хуже нас с вами.

Это был ее, бабушкин, метод лечения. О новой стадии моего выздоровления тем не менее рассказывали знакомым, врачам, – и Антон Александрович перестал забегать к нам «по делу». История его любви была подробно описана в истории моей болезни. И тем самым увековечена.

Мамина мама сказала, что при жизни своего супруга, то есть второго моего дедушки, она ни разу и никому не позволяла «себя любить». Но моей сообразительности она тоже, разумеется, была рада.

Все это произошло не само собой... Я в своих воспоминаниях сильно забежала вперед. Перед «порогом» выздоровления были другие пороги и кручи, которые я преодолевала мучительно. И всегда с помощью бабушки.

Сообщая о том, что я буду отсталым ребенком, врачи, конечно, чуть-чуть понижали голос. Но не настолько, чтобы я их не слышала. Я все понимала и ужасалась своей судьбе. Меня повергали в смятение и руководящие телефонные звонки маминой мамы. По тому, как долго и тщательно она объясняла, где надо искать пути моего спасения, я смекала, что дела мои плохи.

А бабушка как ни в чем не бывало говорила:

– Принеси-ка коробку с нитками. Будешь шить и учить стихи.

Мне становилось легче.

– Вы опять не понимаете меня... Мною движут только благородные чувства, – донеслось из зала суда.

«Все хотят выглядеть красиво. При любых обстоятельствах!» – вновь подумала я.

И отправилась в глубь коридора.

Маму называли крепким специалистом. Это определение очень к ней подходило. Всегда собранная, одетая скромно, но безупречно, с иголки, мама была человеком волевым и «с убеждениями», как подчеркивали ее сослуживцы. Например, без косы, которая золотистой подковой обрамляла голову, я маму просто ни разу в жизни не видела. Впрочем, напоминая по форме своей подкову, эта золотистая коса, по сути, скорее была короной, ибо, прикоснувшись к ней, мама обретала еще большую, чем обычно, уверенность в себе и принимала осанку владычицы. Когда она протягивала руку к косе, я знала, что сейчас будет сказано что-то очень важное и поучительное.

Бездумно мама не бросала слов ни на ветер, ни в безветренную погоду. Она выстраивала мысли с алгебраической точностью, вынося за скобки все лишнее. И почти никогда не меняла свои твердые точки зрения на какие-либо точки с запятыми или многоточия.

Мама всюду была как бы при исполнении служебных обязанностей. Она без устали боролась за окружающую среду. Любая труба, мне казалось, в ее присутствии дымила застенчиво, не в полную силу. А курить вообще никто не решался.

Правда, порой меня удивляло, что мама, борясь с отравлением природы, самой природой не восхищалась, не замечала ее красот. Борьба для нее была естественнее, чем любовь. Если, конечно, речь не шла обо мне. А может, такое обобщение было и вовсе неверным, несправедливым.

Папа работал в музее экскурсоводом. На старых фотографиях он был высоким и статным. Но с годами как-то пригнулся... Согласно домашним легендам, его пригнула моя родовая травма. Слоняясь по судебному коридору, я думала о том, что скорее все же сильный мамин характер заставил его изменить осанку.

А впрочем, я, наверное, опять была не права, несправедлива к своим родителям.

Там, перед дверью суда, я не в состоянии была примириться с тем, что мама и папа смогли...

Музейная обстановка приучила папу говорить вполголоса, а при маме даже и в четверть. Повторявший каждый день на работе одно и то же, папа и дома любил повторяться:

– Ты, Вера, не должна игнорировать свое заболевание. Ты не можешь равняться на тех, кто бегают во дворе: они абсолютно здоровы.

«Ты не должна, ты не можешь...» Его методы воспитания входили в противоречие с бабушкиными.

Я слушала всех, но слушалась бабушку.

За музейные ценности папа сражался так же, как мама за окружающую среду.

– В запасниках прозябает столько шедевров! – возмущался он. – Это все равно, что оставлять гениальные литературные творения в рукописях, хоронить их в столах авторов. Или лекарства, способные исцелять людей, прятать от жаждущих и страждущих! Кстати, искусство – это тоже сильнодействующий исцелитель. Сильнодействующий... Он необходим для нравственного здоровья!

Папа произносил это с необычным для него душевным подъемом. И потому чаще всего в отсутствие мамы, при которой остерегался повышать голос.

Он вообще любил исповедоваться, когда мы были вдвоем. Наверное, считал, что я в его исповедях ничего ровным счетом не смыслю, и поэтому мог быть вполне откровенным, как если бы рядом с ним находилась кошка.

Сначала я и правда ни во что не могла как следует вникнуть. Но постепенно, с годами, под воздействием таблеток, массажей и бабушкиного психологического лечения, начала понимать, что папа в юности мечтал стать художником. У него даже находили какой-то «свой стиль». Но мама этого стиля не разглядела. У нее и тут была своя твердая точка зрения: художником нужно быть либо выдающимся, либо никаким. И папа стал никаким.

Потом он расстался со «своим стилем» и в других сферах жизни.

– Я сделался копировщиком картин, – сообщил он мне как-то. – Сделался копировщиком... Ну а после переквалифицировался в экскурсовода. Если бы мама тогда, давно... лучше понимала меня, я бы мог стать личностью... В искусстве по крайней мере! Хотел создавать свои полотна – теперь рассказываю про чужие. Что делают в подобных случаях, а?

– Разводятся, – неожиданно ответила я. Хотя он задал вопрос не мне, а как бы бросил его в пространство... Мое присутствие он, подобно другим взрослым, в расчет фактически не принимал.

Папа, как и мама после моей реакции на любовный взрыв Антона Александровича, пришел в восхищение.

– Ты сама догадалась или тебе подсказали? – допытывался он.

– Подсказали, – ответила я.

– Кто?

– Ты.

– Нет, не приписывай мне этой заслуги: ты сама стала мыслить четко и ясно! Четко и ясно... – ликовал папа. И восторженно заламывал руки. – Мама права: ты стала постигать сложные нравственные категории. У тебя появилась способность иронизировать!

Своими восторгами они как бы подчеркивали, что судьба-то мне предназначала быть полной кретинкой. Я решила отвлечь папу от моих умственных достижений и спросила:

– А почему вы все-таки не развелись?

– Потому что я... люблю маму.

– И правильно делаешь! – с облегчением изрекла я.

Это привело папу в еще больший экстаз:

– Любящая дочь должна была именно так завершить обсуждение этой деликатной проблемы. Именно так должна была завершить... Все логично. Никаких умственных и нравственных отклонений!

Он еле дождался маминого возвращения с работы. И прямо в коридоре поделился счастливой новостью.

– Она сказала буквально... цитирую слово в слово: «А почему вы все-таки не развелись?» То есть она понимает, что, если брак в чем-то не оправдал себя, не удался, люди разводятся. Ты представляешь, какие аспекты человеческих отношений подвластны ее уму!

Как экскурсовод папа тяготел к возвышенным формулировкам. И некоторые свои фразы повторял, будто кто-то рядом с ним вел конспект.

– Так и сказала?! – восхитилась мама. – «А почему вы не развелись?»

– Буква в букву!

– Великолепно! Ты, я надеюсь, исправишь эту ошибку?

– Нет... Потому что она сразу встревожилась, как бы я не последовал ее чисто теоретическому выводу. И подтвердила, что я должен остаться здесь, ибо люблю тебя. Ибо люблю... Это был голос разума, помноженный на голос сердца! – Папа, безусловно, тяготел к возвышенным формулировкам. – Еще одна новая стадия! – зафиксировал он.

Бабушка пожала плечами.

– Какая такая стадия?

– Нет, не говорите, – возразила мама. – Мы укрепляем веру Веры в самое себя. И кому, как не вам, главному победителю, нашему доброму гению, сейчас ликовать?! Необходимо закрепить данное ее состояние... Бесспорно! – Мама вновь повернулась к папе: – А в результате чего она обратилась к этим проблемам?

– Я рассказал ей о некоторых сложностях, которые имели место в далеком прошлом. В очень далеком. – Папа опять стал изъясняться вполголоса, как в музее возле картин. – Но она сама, без всякой моей подсказки перекинула мост от конкретных событий к логическим выводам. К логическим выводам! – заключил папа, надеясь, что такая концовка уведет маму от сути того, что именно мы с ним обсуждали. – Еще один новый этап!

– Это бесспорно, – согласилась с ним мама. – Если так пойдет, она вскоре сможет учиться в самой обыкновенной школе... В нормальной. Вот тебе и отсталое развитие!

Моя неожиданная реакция на папину исповедь тоже попала в историю болезни. И была таким образом обессмерчена.

О том, что я посмела представить себе возможность их развода, мама словно забыла. И это при ее самолюбивом характере! Я еще раз поняла, что мое выздоровление было для них важнее всего.

Важнее любых жизненных ситуаций и самолюбий.

...Но никто так упорно, как бабушка, не стремился убыстрить процесс моего замедленного развития.

Пределом мечтаний для мамы и папы было вначале мое умение нормально ходить. А бабушка решила научить меня прыгать через веревочку.

– Говорят, выше себя не прыгнешь. Вы хотите опровергнуть эту истину? – с некоторым опасением спросила мама.

– Ничего страшного, – ответила бабушка.

Врачи обучали меня ясно произносить короткие фразы. Бабушка заставляла заучивать головоломные скороговорки, а о том, что «Карл у Клары украл кораллы», я должна была сообщать ей, словно сотруднику угрозыска, ежедневно.

– Вы хотите овладеть программой-максимум! – продолжала словесно рукоплескать мама. – Мы этого никогда не забудем.

Бабушка заставляла меня, как альпинистку, не интересоваться холмами, а стремиться к вершинам, которые издали кажутся недоступными.

Она занималась этим целыми днями – и я могла бы возненавидеть ее. Но бабушка сумела убедить меня, как, наверное, убеждала не раз тяжелобольных, что там, за труднодоступными хребтами, долина спасения.

Она уверяла меня в этом без истеричных заклинаний – особым голосом медсестры, которая подходит к постели, взбивает подушку – и вселяет надежду.

Когда бабушка впервые объяснила мне, что самое дорогое слово на свете «мама», я стала называть ее «мамой Асей»: у бабушки было редкое имя Анисия.

– Крестьянское имя, – объяснила она.

Руки у нее тоже были крестьянские – иссеченные линиями, черточками, морщинами и морщинками.

Бабушка не раз пыталась убедить меня, что мама у каждого может быть только одна. Поэтому лучше уж называть ее так, как принято: бабушкой.

Я пересказала все это маме: мне было интересно, что она думает по данному поводу. Мама думала то же, что я:

– Она подарила тебе, как пишут в газетах, «второе рождение». И поэтому можешь называть ее матерью. Она заслужила. Это бесспорно! – Мама любила слово «бесспорно». И в самом деле спорить с ней никто не решался. – Я сама буду называть ее «мамой Асей». Ты хочешь?

Исполнение любых желаний – привилегия больного ребенка. Но я возразила:

– Ты называй, как раньше... Анисией Ивановной.

– Хорошо. Раз ты хочешь! Только не волнуйся. Главное – не расхотеть нервы!

– Вы вспомните меня мальчиком! – умолял в зале мужчина, выдавленный из тюбика. – Разве я когда-нибудь огорчал вас?

Я вдруг услышала его мать. Она счастлива была сообщить всем, что в детстве ее сын был хорошим, – и напрягла голос.

Дебелая женщина от неожиданности ввалилась обратно в зал.

Судья, похожая на школьницу, склонившись над столом, как над партой, что-то разглядывала. Издали мне показалось, что это была фотография. Рядом, на столе, лежала ее раскрытая сумочка, из которой высовывался кончик платка. И я почему-то подумала, что она тайком разглядывала своего собственного сына. Наверное, маленького. И может быть, размышляя о том, как это мальчики, которые в детстве не огорчают, потом...

Я сама часто об этом думала. И когда видела лицо негодяя, всегда старалась представить себе, каким это лицо было в самом начале жизни.

О том, что я не должна расходовать свои нервы, что человека, перенесшего родовую травму, травмировать больше нельзя, у нас в доме знали все. Это провозглашалось почти ежедневно. И я научилась искусно пользоваться своим «родовым состоянием».

Речь, разумеется, идет о том времени, когда фундамент моего здоровья, закладываемый, как говорил папа, в материнском чреве и разрушенный в первый момент моего появления на свет, был фактически уже восстановлен. Но я делала вид, что он все еще находится, так сказать, в процессе восстановления. Болезнь предоставляла мне немалые льготы. И я с ними расставаться не торопилась.

Мое настроение все обязаны были учитывать. Как только родители не хотели выполнять какой-либо просьбы, состояние моего здоровья трагически ухудшалось: я начинала спотыкаться на ровном месте и невнятно произносить слова. Мама и папа вперегонки уверяли, что у них и в мыслях не было наносить удар по моему душевному состоянию. И только бабушка все понимала. Она жалела родителей: «Ничего страшного!» Но не выдавала меня.

Когда мне исполнилось тринадцать лет, в меня влюбился самый перспективный из начинающих хулиганов нашего двора – Федька След. Прозвище он получил потому, что каждую свою угрозу сопровождал предупреждением:

– Я тебя по любому следу найду!

Как можно отыскать конкретного человека по любому следу – это было Федькиной тайной.

Я тогда еще не совсем оправилась от своей травмы. И если кто-нибудь позволял себе хотя бы усмехаться по поводу моей неловкой походки или не вполне складной речи, Федька тут же обещал отыскать этого человека «по любому следу».

Родители одного из тех, кого он уже отыскал, истошно сообщили об этом моим родителям.

– Почему он мстит за тебя? – напрямую спросила мама.

– Влюблен. Вот и все.

– Вот и все?!

Узнав о моем первом женском завоевании, мама очередной раз бурно возликовала. Прежде она изнурительно беспокоилась о том, могут ли у неполноценных ног ее дочери быть поклонники. Утешая себя, мама говорила, что в моих недугах, бесспорно, есть некоторая пикантность, интригующая непохожесть.

– Разумеется, – привычно соглашался с ней папа. – Отклонение от нормы – это самобытность, оригинальность.

Хотя пилулями, массажами и консультациями профессоров они все же старались лишить меня той интригующей самобытности, в которой, как в бороде Черномора, таилась моя главная сила.

На примере Федькиной страсти я поняла, что истинные чувства действительно понятны без слов: он ни разу не обмолвился о своей слабости. Но свою силу устремил мне на помощь: почти все мальчишки во дворе оказались избитыми.

– Мы можем быть спокойны: ничто человеческое не обойдет Верочку стороной! – восхищалась мама. – Бесспорно... Теперь уже окончательно и бесспорно!

– Это взаимное или одностороннее чувство? – вполголоса поинтересовался папа.

– Одностороннее, – ответила я.

– Всегда стремись к этому! Одностороннее движение даже на улице безопаснее, – поощрила меня мама. – Пусть лучше они... – Она взглянула на папу. – Пусть лучше они вкладывают эмоции и выкладывают свои нервные клетки!

Когда я вышла в другую комнату, бабушка сказала:

– Почему надо так восхищаться? Это же оскорбительно.

– Человек, в котором подозревают какую-нибудь неполноценность, – тоном экскурсовода начал разъяснять папа, – всегда хочет опровергнуть подобное мнение. И это сильнейший стимул!

– А в ком подозревают неполноценность? – уже обычным голосом, не боясь, что я услышу, и продолжая свой метод лечения, спросила бабушка.

Мамина мама, узнав о Федькиной страсти, сказала по телефону, что в мои годы она еще никому не позволяла «себя любить».

– К сожалению, он драчун, – сказал папа таким тоном, будто речь шла о женихе, которому придется отказать от дома.

– Разве Айвенго или, допустим, герои... «Всадника без головы» не были драчунами? – вопросом ответила бабушка. – Они, насколько мне помнится, оставались без головы, потому что дрались за честь. И Федька не лезет в бой просто так... Ничего страшного!

– Плохой человек не может полюбить в столь раннем возрасте. И с такой силой! Анисия Ивановна, как всегда, абсолютно права, – вступила в разговор мама.

Папа сник, поскольку мамины аргументы были для него неопровержимыми. Меня это порой раздражало. Но в данном случае я согласилась с мамой... Однако, когда через несколько дней обнаружилась очередная Федькина жертва и ее родители не пожелали молчать, папа, как бы беря реванш, заявил:

– Надо с ним всерьез побеседовать. Побеседовать надо...

– О чем? – поинтересовалась бабушка.

– О том, что его любовь должна быть бескровной.

– Разве он кому-нибудь говорил про любовь?

– Не говорил... Но о ней говорит весь двор! И Вера выглядит вроде бы соучастницей. Ведь из-за нее он угрожает... И даже в отдельных случаях бьет. Даже бьет!

– Это скверно, – согласилась бабушка. Приободренный папа выдвинул новое предложение:

– Надо побеседовать с его родителями. Все, знаете, были молодыми. Все, знаете, были... И помнят!

Тут я вошла в комнату, где происходил разговор, заплетающейся походкой.

Увидев это, папа взметнул руки вверх:

– Я не буду беседовать. Не буду. Обещаю тебе! Только не трать свои нервы.

Я начала «отходить». И проследовала к окну уже более твердым шагом. Тогда, обращаясь ко мне, папа продолжил:

– Пойми... его интимное чувство не должно производить шум на весь дом.

– Почему?! – вмешалась в разговор мама. Пусть все знают, что в нашу Верочку можно влюбиться.

– Разве в этом кто-нибудь сомневается? – тихо произнесла бабушка. – Она имеет защитника? Ничего страшного!

– По крайней мере для нее, – согласилась мама. – Анисия Ивановна, как всегда, права. – И крикнула в папину сторону: – Просто не верится, что ты ее родственник!

Я подошла к двери, возле которой стояла вновь не замечавшая меня женщина.

– Зачем же делить-то, Коленька? – донесся близкий к рыданию голос матери. – Я ведь скоро...

– Всех нас в два раза переживет! – отреагировала дебелая женщина.

И я поняла, что мужчина, выдавленный из тюбика, – ее раб.

– Что там делят? – спросила я.

Она была до того возбуждена, что выдохнула дым мне в лицо:

– Что делят в суде? Имущество!..

У бабушки была старшая сестра. Ее звали тетей Маней.

– Старшая, но не старая, – объяснила мне бабушка. – Выглядит куда лучше меня: всю жизнь прожила в деревне. Воздух такой, что пить можно. И спокойная она. Ни разу криком себя не унизила.

– Как раз это опасней всего, – включился в разговор папа. – Опасней всего... Человеку необходимо разрядиться: крикнуть, выругаться, что-нибудь бросить на пол. Иначе внутреннее самосожжение происходит... Самосожжение!

Грамоте тетя Маня научилась поздно, уже в зрелом возрасте, и потому очень любила писать письма. Бабушка читала их вслух, а мама и папа делали вид, что им интересно.

Мама иногда даже переспрашивала:

– Сколько... сколько она собрала грибов? Бабушка находила соответствующее место в письме.

– Сколько она наварила банок варенья? Бабушка вновь водила пальцем по строчкам.

Мама могла бы и не интересоваться этими цифрами, потому что все засоленные тетей Маней грибы и все сваренное ею варенье отправлялись по нашему домашнему адресу.

– Куда нам столько? – ахала мама. И аккуратно размещала банки в холодильнике и на балконе.

Всякий раз, когда потом грибы и варенье появлялись на столе, мама напоминала:

– Это от тети Мани!

Если же к папе приходили друзья и грибы становились «грибками», за здоровье тети Мани провозглашались тосты. Бабушке это было приятно:

– Не зря Манечка спину гнула. Удовольствие людям! Когда бабушка была маленькой, они с тетей Маней осиротели.

– Она, старшая, выходила меня... Не дала росточку засохнуть без тепла и без влаги.

– Как ты мне?

– Ты бы и без меня расцвела: тут и мать, и отец, и профессора!

– Нет... Без тебя бы засохла, – ответила я.

По предсказаниям бабушки, ее старшая сестра должна была «пить воздух» лет до ста, если не дольше.

Но тетя Маня стала вдруг присылать письма, в которых точным был только наш адрес. Бабушку она называла именем их давно умершей матери, сообщала, что грибы и ягоды растут у нее в избе, прямо на полу... из щелей.

Потом ее сосед из деревни написал нам, что у тети Мани сосуды в голове стекленеют, но что сквозь то стекло ничего ясно не разглядишь. Так ему врачи объяснили.

– Стало быть, у Мани склероз, – сказала бабушка. И добавила, первый раз изменив себе: – Очень уж это страшно. И воздух, стало быть, не помог.

– В молодости чем больше родных, тем лучше, удобнее. Все естественно, прямо пропорционально, – сказала мама. – А в старости, когда наваливаются болезни, возникает нелогичная, обратно пропорциональная ситуация: чем больше родных, тем меньше покоя.

– Но ведь и мы тоже можем стать пациентами своих близких, – ответила бабушка. – На кого болезнь раньше навалится, никому из нас неизвестно!

Мама при всей точности своего мышления как-то этого не учла.

– Никогда не кричала она. Вот и результат, – пробормотал папа. – Вот и результат...

– Что поделаешь... Надо ехать в деревню, – сказала бабушка. И, вроде бы извиняясь, обратилась ко мне: – Ничего страшного: вас будет трое. А она там одна.

И сразу пошла собираться.

Я почувствовала, что не может быть нас троих... без нее, без четвертой.

Я почувствовала это – и уже не нарочно споткнулась на ровном месте. От волнения я стала, сбиваясь, проглатывая слова, объяснять, что без бабушки все погибнет, разрушится. Мама и папа панически испугались.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.